АНДРЕ

ЖИД

Подземелья Ватикана
Фальшивомонетчики

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Андре Жид

Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики (сборник)

Серия «Зарубежная классика (АСТ)»

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24542399
Андре Жид. Подземелья Ватикана; Фальшивомонетчики: АСТ; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-103817-5

Аннотация

«Подземелья Ватикана» (1914) – самый необычный роман великого Андре Жида. Остроумная, полная озорного юмора история шайки мошенников-интеллектуалов, задумавших поистине гениальный способ «отъема денег у населения» – сбор средств на крестовый поход по освобождению несчастного папы римского, якобы похищенного масонами и заточенного в подземелья Ватикана.

«Фальшивомонетчики» (1925) – произведение, знаковое как для творчества Андре Жида, так и для французской литературы первой половины XX века вообще. Роман, во многом предсказавший мотивы, которые стали впоследствии основными в творчестве экзистенциалистов. Запутанные отношения трех семей – представителей крупной буржуазии, объединенных

преступлением, пороком и лабиринтом саморазрушительных страстей, становятся фоном для истории взросления двух юношей – двух друзей детства, каждому из которых предстоит пройти свою собственную, очень непростую школу «воспитания чувств».

Содержание

Подземелья Ватикана 7
Книга первая 9
Книга вторая 48
Книга третья 107
Книга четвертая 148
Конец ознакомительного фрагмента. 202

Андре Жид
Подземелья Ватикана; Фальшивомонетчики

Andre Gide
LES CAVES DU VATICAN
LES FAUX-MONNAYEURS
Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.
© Editions Gallimard, Paris, 1914, 1925
© Перевод. Н. Зубков, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

***

Лауреат Нобелевской премии по литературе Андре Жид – один из величайших французских писателей XX века, предтеча авторов экзистенциалистской школы, тонкий психолог и блистательный мастер стилизации.

Его произведения, варьирующиеся от классического для

французской прозы психологического реализма до философской параболы, и сейчас поражают удивительной жанровой и стилистической многогранностью.

Подземелья Ватикана

Жаку Копо

Кювервиль, 19 августа 1913 г.

Я с радостью надписываю Ваше имя на первой странице этой книги. Она была Вашей всегда – во всяком случае, с того времени, как стала обретать форму. Припоминаете ли Вы день, когда Вам я рассказывал о ней? Это было в Кювервиле такого-то года; дул сильный ветер, и мы шли в Этрета смотреть на прилив. Ваш любезный интерес к моему рассказу сильно ободрял меня все время, пока я его писал.

Первый замысел этой книги возник еще раньше. Вы напомнили мне: я Вам о ней говорил на другой день после того, как Вы возвратились из путешествия в Данию.

Сколько же лет-то прошло?..

Я знаю: в наши времена поспешной работы и недоношенных родов трудно мне будет кого-либо убедить, что я мог столь долго вынашивать в голове книгу, пока не решился ею разродиться.

Почему эту книгу назвал я «потешной повестью»? Почему три предыдущих – «рассказами»? Чтоб показать, что они, собственно говоря, не «романы».

Впрочем, это не важно: пускай за романы их примут,

лишь бы только потом не пеняли мне, что я нарушил «законы жанра» – не указывали, к примеру, на неясности и беспорядок.

Рассказы, повести… Мне кажется, до сей поры я писал книги лишь *иронические* (или критические, коли Вам так больше по нраву), и эта из них, очевидно, последняя.

Я стою на том, что недостаток произведений нашего времени – их скороспелое появление, поспешность художника, не успевающего их выносить. Но не дай Аполлон мне судиться с эпохой! Кто недоволен – пускай кривится. Я говорю все это лишь для того, чтоб предуведомить тех, которым в «Подземельях» будет угодно видеть какое-то уклоненье, отреченье от прежнего, кто станет чертить кривую моего пути, выявлять эволюцию…

Меня же заботят вопросы лишь ремесла, и я стремлюсь только быть хорошим мастеровым.

Книга первая
АНТИМ АРМАН-ДЮБУА

Что до меня, то я свой выбор сделал: я выступаю за социальный атеизм. Именно такой атеизм я полтора десятилетия развивал в ряде своих работ…
Жорж Палант.
Философская хроника «Меркюр де Франс».

Декабрь 1912 г.

I

Лета 1890-го, при понтификате Льва XIII, слава доктора X., специалиста по лечению болезней ревматического происхождения, разнесшись, призвала в Рим Антима Армана-Дюбуа, франкмасона.

– Что же это? – восклицал Жюльюс де Барайуль, свояк его. – Вы затем отправляетесь в Рим, чтоб исцелить свое тело? Если бы только вы смогли там познать, кольми паче больна душа ваша!

На что отвечал Арман-Дюбуа со снисходительным состраданием:

– Бедный друг мой, посмотрите же на мои плечи.

Барайуль, человек благодушный, невольно переводил

взгляд на плечи родственника; они подрагивали, будто вздымаясь от смеха утробного, неудержимого, и, верно, велика была жалость зреть, как это пространное, полупараличное тело в таких глумливых движениях исходит остатками мускульных сил своих. Что ж! Каждый на своем они стояли прочно, и красноречие Барайуля ничего изменить не могло. Может, изменит время? Таинственное действие места святого? Не скрывая безмерного разочарованья, Жюльюс отвечал лишь одно:

– Антим, вы меня весьма огорчаете. (Плечи тотчас же прекращали пляску, ибо Антим свояка любил.) Если бы только через три года, когда я приеду к вам на торжества юбилея, – если бы только я мог обрести вас тогда в покаянии!

Вероника, нужно сказать, сопровождала супруга совсем с иными намереньями: она была столь же набожна, как и сестра ее Маргарита, как и Жюльюс, и долгое пребывание в Риме отвечало одному из самых ее сокровенных желаний; она обставляла мелкими привычками благочестия свою монотонную, разочарованную жизнь и, неплодна будучи, окружала свой идеал тем попечением, какого не требовалось от нее для детей. Увы! Она уже не имела надежды привести к Богу своего Антима. Она давно знала, сколь упрям может быть этот огромный мозг, как заперт в своем отрицании. Аббат Флонс ей так и говорил: «Нет непреклонней решений, сударыня, чем дурные решения. Теперь надейтесь только на чудо».

И даже огорчаться она уже перестала. С первых же дней, как супруги устроились в Риме, каждый из них сам для себя устроил свою одинокую жизнь: Вероника – в хозяйственных хлопотах и церковных обрядах, Антим – в научных трудах. Жили рядом друг с другом и против друг друга, друг с другом мирясь, повернувшись друг к другу спиной. Этому благодаря воцарилось меж ними какого-то рода согласие, витало над ними какого-то рода полублаженство, и каждый из них, поддерживая другого, в том находил скромное применение собственной своей добродетели.

Как и в большинстве итальянских жилищ, в их квартире, нанятой через агентство, неожиданные удобства сочетались с приметными недостатками. Она занимала весь бельэтаж палаццо Форджетти на виа ин Лючина; в ней была очень хорошая терраса, где Вероника сразу решила разводить аспидистры, столь плохо растущие в парижских квартирах, – но, чтобы попасть на террасу, непременно было нужно пройти через оранжерею, которую Антим сразу сделал своей лабораторией. Договорились, что он разрешает проход с такого-то по такой-то час.

Вероника отворяла бесшумно дверь и пробегала затем торопливо, глаза опустив долу, как молодой монах проходит мимо бесстыдных картинок на стенах, ибо ей было противно видеть, как в самом дальнем углу, возвышаясь над креслом с прислоненным к нему костылем, огромная спина Антима

склонялась над неизвестно каким недобрым делом. Антим, со своей стороны, старался никак не подать вида, что слышит ее. Но как только она проходила назад, тяжело поднимался с сиденья, ковылял до двери и, полон злобы, губы поджав, властным движением пальца толкал дверную задвижку – щелк!

Скоро затем наступало время, когда через другую дверь Беппо – парнишка на побегушках – приходил спросить, какие будут распоряжения.

Уличного оборванца лет двенадцати или тринадцати, без родителей и без крова, Антим приметил через несколько дней после приезда в Рим. Беппо сидел против гостиницы на виа Бокка ди Леоне, где супруги остановились на первое время, и пытался привлечь вниманье прохожих цикадой, жившей у него на пучке травы в коробочке из камыша. Антим дал парнишке за насекомое десять сольдо и, зная по-итальянски лишь пару слов, кое-как объяснил, что завтра переезжает в квартиру на виа ин Лючина, и тогда ему понадобится несколько крыс. Все, что плавает, ползает, бегает и летает, служило ему материалом: он работал с плотью живой.

Прирожденный добытчик, Беппо достал бы ему и орла или волчицу Капитолийскую. Ему нравилась такая работа: он всегда любил что-нибудь стибрить. Платили ему десять сольдо в день; помогал он и по хозяйству. Вероника сначала смотрела на него косо, но, увидев раз, как мальчишка пере-

крестился, проходя мимо Мадонны на северном углу их дома, она простила ему лохмотья и позволила носить в кухню воду, уголь, дрова, растопку; носил он даже корзинку, когда провожал Веронику на рынок по вторникам и по пятницам: в эти дни у горничной Каролины, приехавшей вместе с супругами из Парижа, было слишком много хлопот в самом доме.

Вероника не нравилась Беппо, но в ученого мальчик прямо влюбился. Вскоре тот уже не спускался, мучась, во двор забрать доставленных жертв, а позволял парнишке самому являться в лабораторию. Туда проходили прямо с террасы, на которую со двора вела потайная лестница. Чуть сильней начинало биться сердце Антима в его нерушимом уединенье, когда он слышал негромкий стук босых пяточек по камням. В окно Антим не глядел: от работы его не отрывало ничто.

В застекленную дверь мальчик не стучался, а скребся; Антим, не отвечая, продолжал сидеть, сгорбленный, за столом, и тогда Беппо ступал на четыре шажка и ясным голоском ронял «permesso?»[1], наполнявшее всю комнату лазурью. По голосу приняли бы его за ангела, был же он подручным палача. Он клал на стол мешок – что за новую жертву в нем приносил он? Часто Антим, чересчур поглощенный работой, мешок открывал не сразу, а лишь мельком глядел на него; вздрагивал холст – там могла сидеть и крыса, и мышь; лягушка, воробышек – Молоху все было впрок. Иногда Беппо

[1] Позвольте? (*ит.*)

не приносил ничего и все равно приходил: он знал, что Арман-Дюбуа ждет его и с пустыми руками; и когда мальчик молча склонялся рядом с ученым над каким-нибудь жутким опытом – желал бы я быть уверен, что физиолог не наслаждался тщеславной радостью мнимого бога, видя, как вперяется взгляд ребенка то, с ужасом, в бедную живность, то, с восхищеньем, – в него самого!

Чтобы в дальнейшем напасть на самого человека, Антим Арман-Дюбуа пока что хотел лишь просто свести к «тропизмам» всю деятельность наблюдаемых им животных. Тропизмы! Не успели изобрести это слово, как никакого другого уже и не понимали; целый разряд психологов теперь признавал лишь «тропизмы». Тропизмы! Какой нежданный свет воссиял из этих звуков! Было ясно, что организм уступает тому же влечению, что и подсолнечник, когда лишенное воли растение поворачивается лицом к солнцу (что легко сводится к простым законам физики и термохимии). Отныне мир сей получал утешительный дар успокоения. В самых нежданных движениях существа стало возможным просто признать безусловное послушание движителю.

Чтобы достичь своей цели, чтобы от укрощенной живности добиться признания в простоте поведения, Антим Арман-Дюбуа изобрел сложную систему коробочек с коридорами, лесенками, лабиринтами, отсеками, где в одних лежала еда, в других ничего или какой-нибудь чихательный порошок, с дверцами разного цвета и формы – дьявольский ин-

струмент, вскоре прогремевший в Германии и под именем Vexierkasten[2] ставший на службу новой психофизиологической школе, сделавшей новый шаг на путях безбожия. А чтобы действовать на то или иное чувство, тот или иной отдел мозга животного раздельно, он тех ослеплял, иных оглушал, кастрировал, декортикировал, обезмозгливал, лишал их того или иного органа, который вы сочли бы необходимым, но без которого тварь могла обойтись для Антимовых целей познания.

Его «Сообщение об условных рефлексах» перевернуло Упсальский университет; начались жесточайшие дискуссии, в которых принял участие весь цвет иностранной науки. Но в уме Антима уже взметались новые вопросы – и он, предоставив споры коллегам, повел изыскания на иных путях, надеясь выбить Бога из самых потаенных укреплений.

Ему не довольно было признать grosso modo[3], что всякая жизненная активность приводит к износу, что животное тратит силы уже одним применением мускулов. Всякий раз он спрашивал: сколько потрачено? А когда изнуренный предмет его опытов желал свои силы восстановить, Антим его не кормил, но взвешивал. Дополнительные условия чересчур усложнили бы эксперимент, а был он таков: шесть крыс, голодающих и связанных, подвергались ежедневному взвешиванию – две слепых, две кривых и две зрячих; зре-

---

[2] Обманных шкатулок *(нем.)*.

[3] В общих чертах *(лат.)*.

нию двух последних непрестанно мешала маленькая механическая мельничка. В каком отношении находилась потеря их веса после пяти дней голодовки? С торжеством добавлял Антим Арман-Дюбуа каждый день, ровно в полдень, новые цифры в заведенные для того специально таблички.

II

Юбилей начинался уже совсем скоро. Супруги Арман-Дюбуа ожидали Барайулей со дня на день. Утром пришла телеграмма с известием, что приедут они под вечер, и Антим вышел из дома купить себе галстук.

Выходил Антим редко – как можно реже: ему было трудно двигаться; Вероника все для него с удовольствием покупала, а шили у портных на заказ, приглашая на дом снять мерку. За модой Антим следить уже перестал, но хотя галстук ему был нужен самый простой (скромная ленточка черного шелка), он желал его выбрать сам. В дорогу он купил и в гостинице носил манишку из кармелитского сатина, однако она постоянно выбивалась из-под жилета, который Антим привык глубоко расстегивать; сменивший ее кремовый шейный платок Маргарита де Барайуль, несомненно, найдет неряшливым. Напрасно он изменил маленьким черным ленточкам, которые носил обыкновенно в Париже, и совсем зря не сохранил ни одной для образца. А здесь какой ему предложат фасон? Он не мог решиться, не обойдя несколько ма-

газинов на Корсо и виа деи Кондотти. Бант был бы излишней вольностью для пятидесятилетнего человека; нет, конечно, – пойдет лишь лента с прямым узлом, черная, совершенно матовая…

Обедали только в час дня. К полудню Антим вернулся с покупкой – он успел к взвешиванию крыс.

Щеголем Антим вовсе не был, но испытал потребность примерить свой галстук, а потом уже сесть за работу. Осколок зеркала, служивший некогда для того, чтоб вызывать тропизмы, лежал на столе; Антим приставил его к клетке и склонился над собственным отражением.

Он носил до сих пор еще не поредевшие волосы бобриком – некогда рыжие, теперь же того неясного серовато-желтого цвета, какой появляется у старых вещей позолоченного серебра; над глазами его, серее и холоднее зимнего неба, брови торчали густыми кустами; бакенбарды, маленькие, коротко стриженные, были все еще рыжеватого цвета, как и неухоженные усы. Антим провел рукой по впалым щекам, по широкому квадратному подбородку.

– Ничего, ничего, – пробормотал он, – побреюсь потом.

Он достал галстук из пакета, положил перед собой, вытащил булавку с камеей, снял платок. Его тяжелый затылок был окружен полувысоким воротничком, спереди открытым; кончики его Антим опускал. Здесь, при всем моем желании говорить только о самом главном, я не могу умолчать о шишке на шее Антима Армана-Дюбуа. Ибо что я могу

требовать от своего пера, кроме точности и строгости, пока не приобрету умения надежно различать второстепенное и существенное? И кто может утверждать, что эта шишка не сыграла никакой роли, не имела никакого веса в том, что Антим именовал своей «свободной» мыслью? Ишиас свой он бы, пожалуй, Богу еще простил, но вот этой пошлости простить не мог.

Шишка у него появилась, он не знал отчего, вскоре после женитьбы: сначала только чуть правей и ниже левого уха, там, где начинают расти волосы, – какой-то безобидный узелок; он рос, но Антим еще долго мог скрывать его под густой шевелюрой, начесывая кудри на шею; даже Вероника не замечала его, пока однажды ночью, лаская мужа, рукой на него не наткнулась и не вскрикнула:

– Ой, что это там у тебя?

И опухоль, словно утратив причину скрываться после разоблачения, уже через несколько месяцев сравнялась величиной сначала с перепелиным яйцом, потом с цесаркиным, потом с куриным, и такой оставалась, а волосы вокруг между тем редели и выставляли ее напоказ. В сорок шесть лет Антиму Арману-Дюбуа было уже ни к чему производить впечатление; он коротко подстригся и стал носить полувысокие воротнички такого фасона, где нечто вроде ячейки и скрывало, и выявляло шишку. На том довольно о шишке Антима.

Он обернул вокруг шеи галстук. Посередине, через узкий металлический проход, должна была проскользнуть вспомо-

гательная ленточка, которую готовился подцепить крючок рычажка. Устройство хитроумное, но как только оно цеплялось за ленточку – сам галстук соскальзывал, падал опять на лабораторный стол. Пришлось на помощь призвать Веронику; она прибежала бегом.

– На, пришей, – сказал Антим.

– Завяжи машинкой, это ж такой пустяк, – тихонько ответила она.

– А на деле, оказалось, не держит.

У Вероники всегда под домашней кофтой, у левой груди, были приколоты две иголки со вдетыми нитками: черной и белой. Даже не присев, прямо у балконной двери она стала пришивать ленточку. Антим глядел на нее. Она была довольно грузной, с крупными чертами лица; так же упряма, как и он сам, но, в общем, довольно мила, почти всегда улыбалась, так что даже небольшие усики не делали ее лицо слишком грубым.

«Что-то в ней есть, – думал Антим, глядя, как она тянет иголку. – Мог бы я жениться и на другой: могла быть кокетка, и обманывала бы меня; могла быть ветреница, и бросила бы; могла быть болтушка – все уши бы прожужжала, или глупая курица – я бы с катушек слетел, или брюзга, как свояченица моя…»

И не так сурово, как обыкновенно, сказал он «спасибо», когда Вероника, закончив работу, ушла.

Теперь новый галстук повязан Антиму на шею, и ученый

весь предался своим мыслям. Ни один голос больше не звучит для него ни снаружи, ни в сердце. Вот он уже взвесил слепых крыс. Что дальше? Крысы кривые – без перемен. Теперь надо взвесить зрячую пару. И тут он так поражен, что костыль падает на пол. Что такое! Зрячие крысы… он взвешивает их снова – но нет, никакого сомненья: со вчерашнего дня зрячие крысы *прибавили в весе*! Вдруг его озарило:

– Вероника!

С великим усилием он подбирает костыль и бросается к двери:

– Вероника!

Она услужливо подбегает опять. А он, на пороге стоя, величественно вопрошает:

– Кто трогал моих крыс?

Нет ответа. Он повторяет медленно, делая паузы между словами, как если бы Вероника забыла французский язык:

– Пока меня не было, кто-то им дал поесть. Уж не вы ли?

И тогда она, приободрясь, обращается к нему чуть ли не с вызовом:

– Ты морил бедных зверушек голодом. Я вовсе не мешала твоему опыту – просто…

Но он хватает ее за рукав и, хромая, подводит к столу – показывает таблицы результатов:

– Видите эти листки? Две недели я сюда заношу итоги моих наблюдений; именно их ждет от меня коллега Потье, чтобы доложить на заседании Академии наук 17 мая. Сегодня у

нас 15 апреля: как я продолжу эти столбики цифр? Что напишу?

Она не проронила ни слова, и тогда он, словно кинжалом, коротким пальцем царапая неисписанную страницу, продолжает:

– Сегодня госпожа Арман-Дюбуа, супруга исследователя, слушая лишь свое нежное сердце, допустила… какое мне слово употребить? Неосторожность? Неловкость? Глупость?

– Напишите, пожалуй: пожалела несчастных зверушек, жертв безжалостного любопытства.

Он с великим достоинством выпрямляется:

– Если так вы к этому относитесь, сударыня, то поймете, почему отныне я вынужден просить вас для ухода за вашими растениями подниматься по лестнице со двора.

– Думаете, я хоть раз заходила к вам в логово для собственного удовольствия?

– Так избавьте себя от неудовольствия заходить сюда впредь.

И, подкрепляя эти слова красноречивым жестом, он хватает два листка с записями наблюдений и рвет их в клочки.

«Две недели», сказал он; по правде, крысы его голодали только четыре дня. Именно от преувеличения проступка угасло, должно быть, его раздражение: только сел он за стол, лицо его уже прояснилось; у него хватило даже философичности протянуть супруге десницу примирения. Ведь он еще более, нежели Вероника, не желает, чтоб благомыслящая че-

та Барайуль заметила их несогласия, вину за них во мненье своем непременно возложив на Антима.

В пять часов Вероника сменяет домашнюю кофту на черную драповую жакетку и едет встречать Жюльюса и Маргариту: они прибывали на вокзал Рима в шесть. Антим идет бриться; шейный платок он по доброй воле заменил лентой с прямым узлом: этого должно быть довольно; он терпеть не может церемоний и ради свояченицы не уронит в своих глазах альпаковую куртку, белый жилет с синим узором, тиковые панталоны и удобные черные кожаные домашние туфли без каблуков, которые надевал он даже на улицу: хромота его извиняла.

Он подбирает разорванные листки, складывает клочок к клочку и, пока не приехали Барайули, тщательно переписывает все цифры.

III

Род Барайулей (итальянское «ль» в этом слове по-французски читается «й», так же как титул герцогов Брольо читают «де Бройль») происходит из Пармы. За одного из Баральоли, а именно Алессандро, в 1514 году, вскоре после присоединения герцогства к Папскому государству, вышла замуж вторым браком Филиппа Висконти. Другой Баральоли, тоже Алессандро, отличился в битве при Лепанто, а в 1580 году был убит при загадочных до сих пор обстоятельствах.

Не трудно, но не слишком интересно, было бы проследить судьбу этой фамилии до 1807 года, когда Парма была присоединена к Франции и Робер де Барайуль, дед Жюльюса, поселился в По. В 1828 году он получил от Карла X графскую корону; позднее Жюст-Аженор, его третий сын (два первых умерли во младенчестве), с достоинством носил эту корону в должности посла, где блистал его тонкий ум и одерживало победы дипломатическое искусство.

Жюльюс, второй ребенок Жюста-Аженора де Барайуля, после женитьбы жил вполне степенно, в юности же знавал иногда и сильные страсти, но мог, как бы то ни было, сказать о себе по всей справедливости, что сердце его никогда не падало низко. Глубоко вкорененное благородство натуры и особенное изящество, которым дышали его самые мимолетные писания, всегда удерживали его вожделения на краю наклонной плоскости, куда любопытство романиста, без сомненья, пустило бы их во весь опор. Кровь его в жилах текла без завихрений, но не была холодна: несколько великосветских красавиц тому быть могут свидетельницами… И я бы вовсе об этом не упомянул, если бы его первые романы не давали бы это достаточно ясно понять, чему отчасти и были обязаны громким успехом в свете. Благодаря высокому положению читателей, которые способны были ими восхищаться, появились они – первый в «Корреспондан», два других – в «Ревю де дё монд». Вот так, словно бы поневоле, Жюльюс Барайуль еще совсем молодым увидел себя у врат

академии – да и статность, важный взгляд с поволокой, задумчивая бледность на челе словно предназначали его для места с бессмертными.

Антим исповедовал величайшее презрение к тому, чтобы выделяться положением в обществе, богатством, внешностью, – Жюльюса эти заботы мучили беспрестанно. Однако ученому нравились в нем некое добродушие и крайнее неумение спорить, которое часто приносило свободной мысли победу.

В шесть часов Антим слышит: экипаж гостей останавливается у подъезда. Он выходит встретить их у входа. Жюльюс поднимается на крыльцо первым. Цилиндр кронштадт, прямое пальто с шелковыми отворотами – можно подумать, он одет для визита, а не по-дорожному, не будь на руке у него шотландского пледа; долгий путь нимало на нем не сказался. Следом под руку с сестрой идет Маргарита де Барайуль – весьма, напротив, помятая: капот и шиньон сбились на сторону, на крыльцо она поднимается, покачиваясь, половина лица закрыта прижатым к лицу носовым платком… Подойдя к Антиму, Вероника шепчет тихонько:

– Маргарите в глаз попал уголек.

Дочка Барайулей Жюли, грациозная девятилетняя девочка, и горничная идут сзади в полнейшем молчанье.

У Маргариты характер такой, что к подобным вещам с легкомыслием не отнесешься. Антим предлагает послать за

глазным врачом, но Маргарите известна молва, каковы коновалы в Италии; она ни за что и слышать об этом не хочет; произносит умирающим голосом:

– Холодной воды… просто немного холодной воды… Ах!

– Дорогая сестрица, – отвечает Антим, – на минутку холодная вода вам действительно принесет облегченье, ослабив приток крови к вашему глазу, но от недуга не избавит.

Он поворачивается к Жюльюсу:

– А вы заметили, что это было?

– Пожалуй, нет. Когда поезд остановился, я предложил посмотреть, но Маргарита разнервничалась…

– Что ты говоришь такое, Жюльюс! Ты был страшно неловок! Стал поднимать мне веко так, что чуть все ресницы не выдернул…

– Не позволите ли мне попробовать? – говорит Антим. – Может быть, у меня лучше получится…

Факкино поднес чемоданы. Каролина зажгла лампу с рефлектором.

– Но послушай, друг мой, не в коридоре же ты будешь делать эту операцию, – замечает Вероника и ведет Барайулей к ним в комнату.

Квартира Арманов-Дюбуа распространялась вокруг внутреннего двора; окна во двор освещали коридор, что вел из прихожей в оранжерею. В этот же коридор выходили двери сперва из столовой, потом из гостиной (огромной, плохо обставленной угловой комнаты, которой Антим с супругой не

пользовались), затем из двух смежных комнат, приготовленных одна для супругов, другая, маленькая, для Жюли, рядом со спальней четы Арманов-Дюбуа. Все эти комнаты сообщались также и между собой. Кухня и два помещения для прислуги находились по другую сторону от подъезда.

– Не собирайтесь все вокруг меня, прошу вас, – стонет Маргарита. – Жюльюс, распакуй же вещи…

Вероника усадила сестру в кресло и взяла лампу. Антим вгляделся:

– Действительно, глаз воспален. Не снимете ли шляпку?

Но Маргарита, боясь, должно быть, как бы растрепанная прическа не обнаружила своих искусственных составляющих, сказала: нет, не сейчас. Шляпка без полей с завязками не помешает ей опереться затылком на изголовье.

– Так вы меня просите вынуть сучок из вашего глаза, а бревно из моего вынуть не даете, – сказал Антим с каким-то хихиканьем. – Кажется, в Евангелии заповедано как раз обратное!

– О, прошу вас, не заставляйте меня слишком дорого платить за ваши услуги!

– Молчу, молчу… Берем чистый платок… вот так, уголочком… вижу, вижу, что там… да не бойтесь, черт вас возьми! Смотрите в небо! Вот и все.

Уголком носового платка Антим вытаскивает крохотную соринку.

– Благодарю, благодарю! Теперь оставьте меня. У меня

ужасная мигрень…

Маргарита теперь отдыхает, Жюльюс вместе с горничной возится с чемоданами, Вероника смотрит за приготовлением ужина, Антим же болтает с Жюли.

Он провел ее к себе в комнату. Арман-Дюбуа уехал, когда племянница была еще совсем крохой, и теперь едва узнает эту большую девочку – ее наивная улыбка уже серьезна. Они беседуют о всяких пустяках, которые, по мненью Антима, должны быть приятны ребенку, и вот его взгляд задерживается на серебряной тонкой цепочке у нее на шее. Он понимает: там, должно быть, висят образки. Беззастенчивым движением толстого пальца он выдергивает их наружу и, пряча болезненное отвращение под маской недоумения, говорит:

– А это что за штучки-дрючки?

Жюли прекрасно понимает, что он не всерьез спросил, но к чему ей сердиться?

– Как, дядя Антим, вы никогда не видели образков?

– Право слово, не видел, малышка, – лжет он. – И не особо красивые – значит, должно быть, они зачем-то нужны?

А девочка – ведь чистая вера не пугается невинных шуток – пальчиком показала на свою фотографию над каминным зеркалом и ответила:

– А вот у вас, дядюшка, висит на картинке девочка, тоже не особо красивая; зачем она вам нужна?

Не ожидал дядя Антим, что лукавая святоша не полезет за словом в карман, что у нее столько бесспорного здравого

смысла!

На миг он оторопел – не заводить же с девятилетним ребенком метафизический спор. Улыбнулся. Девочка, тотчас же поняв, что перевес за ней, начинает показывать освященные медальончики:

– Вот мученица Юлия, моя святая; а это святое сердце Гос…

– А самого Господа Бога у тебя нет? – глупо перебивает ее Антим.

– Нет, его самого не делают… А вот самый хороший: Божья Матерь Лурдская, мне ее подарила тетя Лилиссуар; она ее из самого Лурда привезла, а я надела в тот день, когда папа с мамой меня посвятили Богородице…

Этого Антиму уже не перенести. Даже не дав себе труда представить, сколь неотразимо прелестно майское шествие детишек в белом и голубом, он не может удержаться от маниакальной потребности в богохульстве:

– Значит, не очень ты нужна Богородице, раз до сих пор тут, с нами?

Девочка не отвечает. Может быть, уже понимает, что на иное нахальство лучше не отвечать ничего? Но что это? Нелепый вопрос покраснеть заставил не Жюли, а масона; его легкое смущение – тайный спутник чувства неприличия; дядюшка прячет минутное замешательство, запечатлев на лбу племянницы примирительный поцелуй.

– А вы почему так сердитесь, дядя Антим?

Девочка все поняла: у этого безбожника-ученого доброе, в сущности, сердце.

А если так, что ж он упорствует?

В этот момент Адель открывает дверь:

– Барышня, вас мамаша зовет.

Маргарита де Барайуль явно боится влияния своего зятя и очень не хочет, чтоб дочь оставалась с ним долго. Это он и осмелится ей чуть позже заметить на ухо во время семейного ужина. Но Маргарита глядит на Антима еще немного воспаленными глазами:

– Я вас боюсь? Но, дорогой друг мой, Жюли могла бы привести к Богу дюжину вам подобных, прежде чем ваши насмешки коснулись ее души. Нет-нет, нас, церковных людей, так легко не пронять. И все же имейте в виду, что это еще ребенок. Она знает, каких богохульств можно ждать во времена столь испорченные, как наши, в стране, которой управляют так же постыдно, как нашей. Но очень жаль, что первый соблазн к ней приходит через вас, дядю ее, к которому мы бы хотели ее воспитать в почтении…

IV

Эти слова, столь взвешенные и разумные, смогут ли успокоить Антима?

Да, на первые две перемены (впрочем, ужин, вкусный, но простой, всего из трех блюд и был), покуда родственный раз-

говор не касается заковыристых тем. Поговорили сначала о медицине в связи с Маргаритиным глазом (и Барайули сделали вид, будто не замечают, что шишка Антима выросла), потом об итальянской кухне из любезности к Веронике – с намеком на то, как прекрасно у нее готовят. Потом Антим спросил, как дела у Лилиссуаров, с которыми Барайули встречались недавно в По, и у графини Валентины де Сен-При, сестры Жюльюса, у которой возле По имение; наконец, осведомился о Женевьеве, очаровательной старшей дочери Барайулей – они бы ее с удовольствием взяли с собой в Рим, но она решительно не желала оставить больницу Страждущих Младенцев: каждый день она ходит туда, на улицу Севр, перевязывать язвы несчастным детишкам. Потом Жюльюс поднял важный вопрос об отчуждении имущества Антима, а именно земли, которую ученый купил в Египте, когда еще в молодости в первый раз побывал там. Эта земля была расположена неудобно и до последнего времени не имела почти никакой цены, однако недавно встал вопрос, не пройдет ли через нее железная дорога из Каира в Гелиополис; без сомнения, кошельку Арманов-Дюбуа, сильно похудевшему в рискованных спекуляциях, очень была бы кстати такая удача, но Жюльюс незадолго до поездки имел случай поговорить с Манитоном – инженером-экспертом проекта новой линии – и посоветовал свояку не возлагать на нее особенно серьезных надежд: все это может оказаться и пшиком. Но Антим кое-чего не сказал: дело это в руках Ложи, а она своих не

бросает.

Затем Антим заговорил с Жюльюсом о выборах в академию, о шансах его; он говорит об этом с улыбкой, ибо совсем не верит в избрание, да и сам Жюльюс безразлично-спокоен и словно бы отстранен: к чему рассказывать, что у его сестры, вдовы графа Ги де Сен-При, в руках кардинал Андре и, стало быть, пятнадцать бессмертных, всегда голосующих заодно с кардиналом? Антим мимоходом и слегка хвалит последний роман Барайуля «Воздух вершин». На самом деле книга показалась ему отвратительной, и Жюльюс, который прекрасно все понимает, спешит возразить, чтобы не уронить самолюбия:

– А я полагал, что такая книга понравиться вам не может.

С книгой Антим еще, пожалуй, смирился бы, но вот намек на убеждения уколол его; он заявляет в ответ, что эти взгляды никак не касаются суждений, которые он выносит об искусстве вообще, а в частности о произведениях своего родича. Жюльюс улыбается примирительно и снисходительно; желая переменить тему, он спрашивает свояка о том, как себя ведет его ревматизм, и по ошибке произносит «люмбаго». Ах, лучше бы Жюльюс поинтересовался его научными опытами! Тогда Антиму было бы что ответить. Люмбаго! Так и до шишки его дойдет! Но про научные опыты свояка Барайуль ничего не знает: ему спокойней про них ничего не знать… Антим, уже готовый вскипеть и особенно больно задетый «люмбаго», усмехается и отвечает сердито:

– Как я себя чувствую? Ха-ха-ха! Если бы лучше, вы бы очень этому огорчились!

Изумленный Жюльюс просит свояка объяснить, чему он обязан, что ему приписывают такие немилосердные чувства.

– Черт побери! Когда кто-то из ваших хворает, вы тоже прекрасно умеете вызвать врача, но когда исцеляются ваши болезни – медицина тут ни при чем: все дело в молитвах, которые вы читали, пока врач вас лечил. А если выздоравливает тот, кто в церковь не ходит, это же, черт побери, нахальство с его стороны!

– Так вам лучше хворать, лишь бы не молиться? – прочувствованно говорит Маргарита.

Ну куда она лезет? Обычно никогда не участвует в разговорах на общие темы и всегда тушуется, как только рот открывает Жюльюс. У них мужской разговор, к черту все церемонии! Антим резко оборачивается к ней:

– Милейшая моя, знайте, что если бы исцеление находилось вот тут – понимаете, тут, – он остервенело тычет пальцем в солонку, – то мне, чтоб получить на него право, нужно было бы умолять об этом Господина Начальника (в дурном настроении так зовет он из озорства Верховное Существо), а не то просить его вмешаться, нарушить ради меня установленный порядок причин и следствий – порядок в высшей степени достойный – так вот, мне было бы не нужно исцеление; я бы сказал Начальнику: отцепитесь от меня с вашими чудесами – не нуждаюсь!

Он говорит, чеканя слова и слоги, возвысил голос в полную меру гнева – он ужасен.

– Не нуждаетесь? Почему же? – преспокойно спросил Жюльюс.

– Потому что это принудило бы меня поверить в того, кого нет.

При этих словах он грохает кулаком по столу.

Маргарита с Вероникой тревожно переглянулись, потом посмотрели на Жюли.

– Тебе, я думаю, девочка, пора уже спать, – говорит мать. – Ложись поскорей, мы придем к тебе пожелать спокойной ночи в кроватке.

Девочка, перепуганная страшными словами и демонским видом дяди Антима, тотчас же убегает.

– Если я исцелюсь, то хочу быть за это обязанным только себе. И точка.

– Но как же – а доктор? – посмела сказать Маргарита.

– Ему я плачу за услуги, и мы в расчете.

Но Жюльюс говорит до чрезвычайности важно:

– Что ж, если благодарность к Богу вас чересчур обязывает…

– Да, братец, потому-то я и не молюсь.

– За тебя, мой друг, молились другие…

Это говорит Вероника – до сей поры она не сказала ни слова. При звуках знакомого ласкового голоса Антим вздрагивает, теряет всякое самообладание. Доводы возражений на-

перебой рвутся с языка. Прежде всего никто не имеет права молиться за другого против его желания, просить для него милости без его ведома – это злоупотребление доверием. Она ничего не добилась – вот и прекрасно! Будет знать, чего они стоят, молитвы! Вот он и вышел кругом прав! А впрочем, быть может, она не так хорошо и молилась?

– Успокойтесь, я расскажу дальше, – так же ласково отвечает Вероника. Улыбаясь, как будто гневная буря ее не коснулась, она поведала Маргарите: каждый вечер, ни разу не пропустив, она зажигает за Антима две свечки и приносит к статуе Мадонны у перекрестка на северном углу их дома – той самой, у которой когда-то она увидела, как перекрестился Беппо. Ночевал мальчишка там же, неподалеку, на улице, в нише стены, и Вероника всегда наверняка могла его там застать в нужный час. Сама она до статуи достать не может – та стоит высоко для прохожих, и Беппо (теперь он стал стройным пятнадцатилетним подростком), цепляясь за камни и металлическое кольцо в стене, ставит зажженные свечки перед святым образом. И разговор неприметно ушел от Антима, сомкнулся над его головой: сестры говорили между собой, как трогательна простонародная набожность, для которой самая примитивная статуя всегда будет и самой чтимой… У Антима совсем голова пошла кругом. Как! Мало того что утром Вероника покормила его крыс! Она еще ставит за него свечки! За него! Его жена! Да еще и Беппо вмешала во всю эту жуткую чушь! Ну, погоди же!

Кровь прилила к вискам; стало душно; голова гудела как колокол. Собрав все силы, он встал, опрокинув стул, вылил стакан воды себе на салфетку, вытер мокрой салфеткой лоб… Ему плохо? Вероника спешит на помощь; он грубо ее оттолкнул, вырвался, хлопнул дверью – и вот уже слышно, как удаляются по коридору запинающиеся шаги под аккомпанемент глухо стучащего костыля.

Гости остались огорченно-растерянными столь внезапным поступком. Несколько секунд они сидели молча.

– Бедная моя! – промолвила наконец Маргарита. Но и при этом случае лишний раз проявилось, насколько различны характеры двух сестер. Душа Маргариты скроена из той необыкновенной ткани, из которой Бог делает своих мучеников. Она это знает и жаждет страдания. К несчастью, жизнь не принесла ей никаких бед; у нее все есть, и ее дар терпения вынужден искать применения по случаю мелких невзгод; всяким пустяком она пользуется, чтоб он ее оцарапал, за все хватается и ко всему цепляется. Да, она умеет устроиться так, чтоб ей всегда чего-то не хватало, вот только Жюльюс как будто нарочно желает оставить ее добродетель без употребления – что ж удивительного, что она им всегда недовольна, всегда капризна? Чего бы достигла она с мужем таким, как Антим! И ей неприятно, что Вероника этим так плохо пользуется; та вечно умеет уйти без потерь; с елеем ее непременной улыбки все проскакивает незаметно: насмешки, сарказмы… И, конечно, она давно уж решилась

жить своей жизнью; к тому же Антим обходится с ней неплохо и всегда может прямо сказать, чего ему надо. Он потому так кричит, объясняет она, что ему трудно двигаться; будь он совсем без ног, то не так бы и горячился. А на вопрос Жюльюса, куда он пошел, Вероника ответила:

– В лабораторию.

Когда же Маргарита спросила, не стоит ли последовать за ним – ведь после такой вспышки гнева ему и дурно стать может! – сестра ей сказала: поверь, лучше оставить его успокоиться самому, не обращать внимания на его выходку.

– Давайте закончим ужин, – говорит она в заключение.

V

Но нет, не в лаборатории остался дядя Антим.

Как можно скорей он миновал рабочее помещение, где довершались страдания шести его крыс. Отчего не помедлил он на террасе, омытой закатным светом? Серафическое вечернее освещение умирило бы непокорную душу, быть может, преклонило бы его… Но нет: он уклонился от вразумления. По неудобной винтовой лестнице он спустился во двор, вышел на улицу. Трагедией видится поспешность калеки: мы же знаем, с каким усилием дается ему каждый шаг, ценою каких страданий – любое усилие… Когда же мы узрим, что дикая эта энергия направится на благое дело? Иногда с его губ срывается стон, сводит судорогой лицо… Так куда же ве-

дет его богопротивное бешенство?

Эта Мадонна (с ее протянутых ладоней истекает на дом сей милость и на весь мир отраженье небесных лучей; быть может, заступничает она даже за богохульника) не то что нынешние статуи, изготовленные из пластического римского картона Блафаффаса в художественных мастерских Лилиссуар-Левикуан. Образ ее – выраженье народного благочестия – простодушен, и оттого лишь прекрасней и красноречивей для взора. Напротив статуи, но достаточно далеко, освещая бледное лицо, глянцевитые руки и голубой покров, подвешен фонарь на цинковой крыше, прикрывающей углубление, где висят на стене молитвенные подношенья. На высоте поднятой руки за железной дверцей, ключ от которой находится у церковного сторожа, скрыто крепленье веревки для фонаря. А еще перед образом этим горят день и ночь две свечи, принесенные Вероникой. При виде этих свечей вновь подымается ярость масона: он знает, что свечи горят за него. Навстречу выбежал Беппо – в своем укрытии он как раз догрызал черствую корку с парой веточек зелени. Не отвечая на его учтивый привет, Антим схватил паренька за плечо; наклонился над ним – и что ж произнес он такого, что Беппо от ужаса весь затрясся?

– Нет! Нет! – возмущенно крикнул мальчишка. Из кармана жилетки Антим достал пятилировую бумажку – Беппо вознегодовал… Быть может, когда-нибудь станет он воровать, станет даже убийцей – кто знает, каким зловонным

пятном нужда покроет его чело? Но поднять руку на Пречистую Деву, которая печется о нем, по которой он каждый вечер, засыпая, вздыхает, которой, проснувшись, улыбается каждое утро! Пусть Антим убеждает, грозит, ругается, подкупает его – он получит от Беппо только отказ.

Впрочем, нам не следует заблуждаться. Не на саму Богородицу озлоблен теперь Антим, но на Вероникины свечи пред нею. Однако простая душа Беппо таких тонкостей не разбирает – да и свечи эти святые теперь, никто не имеет права их задувать…

Антим, отчаявшись, оттолкнул непреклонного паренька. Он все сделает сам. Прислонившись к стене, он берет костыль за ножку, страшно размахивается, занеся назад рукоять, и со всех сил швыряет его к небесам. Деревянный костыль рикошетит от ниши, падает с грохотом на землю, а за ним – какой-то обломок, кусок штукатурки. Антим подбирает костыль, отступает, смотрит на статую… Чертова сила! Две свечи как горели, так и горят. Но что это? У статуи на месте правой руки торчит лишь черный железный штырь.

Отрезвев, он оглядывает обидный итог своего поступка: и все оказалось ради дурацкого вандализма… Тьфу, пропасть! Он ищет глазами Беппо: мальчика нет как нет. Опускается мрак; Антим стоит один, видит на мостовой обломок, отбитый его костылем, подбирает: маленькая рука из гипса; пожав плечами, он кладет ее в жилетный карман.

Со стыдом на лице, с яростью в сердце святотатец идет

обратно в лабораторию: он хотел бы теперь поработать, но непосильное напряжение надломило его: способен он только заснуть. Разумеется, он ляжет спать, ни с кем не прощаясь… Но едва он входит в свою спальню, как его останавливает чей-то голос. Дверь соседней комнаты открыта, он крадется по темному коридору…

Подобна ангелу-хранителю дома, маленькая Жюли в ночной рубашонке стоит на коленях у себя на постели; у изголовья, освещенные лампой, преклонили колени Вероника и Маргарита; чуть дальше, в изножье, стоит Жюльюс в благочестиво-мужественной позе: одну руку держит у сердца, другою прикрыл глаза; все они слушают, как молится девочка. Совершенная тишина облекает все это зрелище; оно напоминает ученому один тихий золотой вечер на берегу Нила, когда голубой дымок восходил, как восходит теперь молитва ребенка, прямо к чистому небу…

Молитве, как видно, скоро конец; девочка уже прочитала все, что положено по уставу, и теперь молится от избытка сердца, как оно ей подскажет: молится о маленьких сиротах, о страждущих и о бедных, о старшей сестре Женевьеве, о тетушке Веронике, о папе, о том, чтоб поскорей зажил глаз у дорогой мамочки… Но сердце Антима стеснено; громко, с порога, на всю комнату он произносит, желая быть ироничным:

– А о дяде у Господа мы ничего не попросим?

И тогда девочка недрогнувшим голоском, ко всеобщему

изумлению, произносит:

– И еще о грехах моего дяди Антима молю тебя, Боже.

Атеиста эти слова поражают в самое сердце.

VI

В ту ночь Антиму приснился сон. Кто-то стучал в дверцу его спальни – не в коридорную дверь, не в дверь из соседней комнаты, а значит, еще в одну, которой ученый не примечал наяву: она вела прямо на улицу. Поэтому он испугался, ничего не отвечал поначалу – сидел притихший. Какое-то слабое сиянье позволяло ему ясно видеть каждую мелочь в комнате – свет неверный и тихий, как будто от ночника, однако во тьме никакая свеча не светила. Антим пытался понять, откуда исходит это сиянье, и тут постучали еще раз.

– Что вам угодно? – крикнул он дрожащим голосом.

На третий раз его охватила необычайнейшая расслабленность – такая, что всякое чувство страха растаяло в ней (позже он ее называл безропотной нежностью); потом он вдруг понял, что совсем беззащитен и что дверь сейчас отворится. Она открылась бесшумно, и какой-то миг он видел только черный проем, но вот в нем, как в нише, возникла Пречистая Дева. Маленькая белая фигурка – сначала он принял ее за свою племянницу Жюли, такую, как видел только что: с босыми ножками, чуть видными из-под рубашки, – но мгновенье спустя признал ту, кого только что оскорбил: я хотел

сказать, что она имела облик статуи с перекрестка, а он различил даже рану у нее на правой руке; однако улыбка на ее бледном лице была еще прекрасней и приветливей обыкновенного. Он не видел, чтобы она переступала ногами, но она приблизилась к нему, как бы скользя, и, подойдя к самому изголовью, сказала ему:

– Ты, кто поранил меня, думаешь ли, что я нуждаюсь в руке, чтобы исцелить тебя? – И протянула к нему пустой рукав.

Ему казалось теперь, что это странное сиянье от нее и исходит. Но вдруг железный штырь вонзился ему в бок, страшная боль пронзила его, и он проснулся во тьме.

Пожалуй, с четверть часа Антим приходил в себя. Во всем теле он ощущал странное онемение, отупение, потом щекотку, довольно приятную, так что уже сомневался, вправду ли чувствовал ту острую боль в боку; он уже не понимал, где его сон начался и где кончился, наяву ли он теперь, спал ли сейчас перед тем… Он ощупал себя, ущипнул, убедился, что бодрствует, выпростал из постели руку и зажег спичку. Вероника спала рядом с ним, отвернувшись лицом к стене.

Тогда, вытащив простыню из-под матраса, откинувши одеяла, он спустил с кровати ноги и сунул в туфли пальцы. Костыль стоял тут же, прислоненный к ночному столику; он не взял его, приподнялся на руках, подвинув при этом кровать; потом надел туфли полностью; потом встал прямо на ноги; потом, еще неуверенно, протянув одну руку вперед,

другую назад, сделал шаг, два шага вдоль кровати, три шага, потом через комнату… Матерь Божья! ужели?.. Бесшумно напялил штаны, надел жилет, куртку… Остановись, мое неосторожное перо! Где-то плещет теперь крылом освобожденная душа, уносимая неловким порывом тела, исцеленного от расслабления?

Через час с четвертью, пробужденная неким предчувствием, Вероника проснулась и сначала встревожилась, что Антима нет рядом с ней; еще сильней встревожилась она, когда зажгла спичку и увидала стоящий у изголовья костыль – непременного товарища калеки. Спичка догорела меж пальцев ее, ибо свечку забрал Антим, уходя; Вероника на ощупь оделась кое-как, тоже вышла из комнаты и тотчас же увидела путеводный луч из-под двери Антимова логова.

– Антим! Ты здесь, друг мой?

Ответа не было. Но Вероника, навострив уши, услыхала какой-то необычный звук. Тогда она в крайней тревоге открыла дверь – и увиденное пригвоздило ее к порогу.

Ее Антим был тут, прямо пред нею; он не сидел, не стоял; макушка, вровень с его столом, вся освещалась свечой, которую он поставил на краешек. Антим – ученый, атеист, у которого долгие годы несгибаемы оставались и покалеченная нога, и непреклонная воля (ибо, надо заметить, у него дух и тело всегда шли рядом), – Антим преклонил колени.

На коленях стоял Антим! Двумя руками держал он кусочек гипса, орошая его слезами, покрывая исступленными

поцелуями. В первый миг он не пошевелился, и Вероника, в недоуменье, не смея ни войти, ни вернуться, уже собиралась сама преклонить колени прямо на пороге, напротив супруга, но тут – о чудо! – он без усилья встал, пошел к ней твердым шагом и заключил в крепких объятьях.

– Отныне, – сказал он, склонившись над ней и прижав ее к сердцу, – отныне, друг мой, ты будешь молиться со мною вместе.

VII

Обращение франкмасона не могло долго оставаться в тайне. Жюльюс де Барайуль в тот же день, не откладывая, сообщил о нем кардиналу Андре, который поделился вестью со всей Консервативной партией и высшим духовенством Франции; Вероника же объявила об этом отцу Ансельму, так что вскоре новость дошла и до ушей Ватикана.

Не было сомнений, что на Армане-Дюбуа почила особенная благодать. Что Пресвятая Дева действительно являлась ему, утверждать, пожалуй, было бы неосторожно, но даже если он видел ее только во сне, исцеление было налицо: наглядное, неоспоримое и, безусловно, чудесное.

И если Антиму, быть может, исцеления было бы и довольно, то Церкви того не хватало: она потребовала торжественного отречения от заблуждений, предполагая обставить его с чрезвычайной пышностью.

– Как же это? – говорил ему несколько дней спустя отец Ансельм. – Будучи в заблуждении, вы всеми средствами распространяли ересь, а ныне уклонитесь преподать миру высокий урок, извлеченный небом из вас самого? Сколько душ отвратил ложный свет вашей суетной науки от света истинного? Теперь в вашей власти посмеяться над прежним, и вы поколеблетесь сделать так? Что говорю: в вашей власти! Это ваш непременный долг, и я вам не нанесу оскорбления, предполагая, будто вы не чувствуете того.

Нет, Антим не уклонялся от этого долга, однако не мог не опасаться его последствий. Серьезные интересы, которые были у него в Египте, находились, как мы сказали уже, в руках франкмасонов. Что мог он сделать без поддержки Ложи? И какая могла быть надежда, что Ложа продолжит поддерживать человека, который от нее прямо отрекся? Прежде он ожидал от нее богатства, ныне же впереди видел свое совершенное разорение.

Он открылся отцу Ансельму. Тот обрадовался. Он не знал, что Антим посвящен в высокую степень: тем приметнее, думал он, будет его отречение. Два дня спустя масонство Антима уже не было тайной для читателей «Оссерваторе» и «Санта Кроче».

– Вы же меня погубите, – говорил Антим.

– Нет, сын мой, напротив, – отвечал отец Ансельм, – мы несем вам спасение. Что же до нужд материальных, о том не заботьтесь: Церковь поддержит вас. Я имел долгую беседу о

вашем деле с кардиналом Пацци, а тот, верно, доложит Рамполле; скажу вам и то, что ваше отречение не безвестно и его святейшеству; Церковь не может не признать жертвы, которую вы принесете ради нее, и не допустит, чтобы вы от того понесли ущерб. Впрочем, не кажется ли вам, что вы преувеличиваете эффективность, – он улыбнулся, – масонства в таких делах? Нет, мне, конечно, известно, что с ними слишком часто приходится считаться… Наконец, есть ли у вас оценка того, что вы боитесь потерять из-за их вражды? Скажите нам примерную сумму и… – он с лукавым добродушием поднес палец левой руки к носу, – ничего не страшитесь.

Через десять дней после торжеств юбилея в чрезвычайно помпезной обстановке состоялось в церкви Иисуса торжественное покаяние Антима. Мне ни к чему говорить о подробностях церемонии, обратившей на себя внимание всех итальянских газет того времени. Отец Т., товарищ генерала ордена иезуитов, произнес по этому случаю одну из примечательнейших своих проповедей. Очевидно, что душа франкмасона мучилась до безумия, и крайний предел ненависти ее оказался предвозвещением любви. Благочестивый оратор вспомнил Савла Тарсийского, найдя между святотатственным поступком Антима и побиением камнями святого Стефана поразительную аналогию. И пока набухало и раскатывалось под сводами церкви красноречие преподобного отца, как прокатывается по гроту набухшая пена прилива, Антим припоминал звонкий голосок своей племянницы и в

глубине сердца благодарил ее за то, что она призвала на грехи злочестивого дядюшки милосердие той, которой только он и желал служить впредь.

После этого дня, поглощенный высшими заботами, Антим едва замечал тот шум, что поднялся вокруг его имени. Жюльюс де Барайуль взял его страдания на себя и не мог развернуть газеты без замирания сердца. На первый восторг ортодоксальных листков отозвалось шиканье органов либеральных: на большую статью «Оссерваторе» «Новая победа Церкви» отвечала инвектива «Темпо Феличе» «Одним дураком больше». Наконец, в «Депеш де Тулуз» хроника наблюдений Антима, отправленная за два дня до его исцеления, вышла с издевательским предисловием; Жюльюс от имени свояка ответил сухим и достойным письмом, извещавшим, что «Депеш» отныне не может числить его среди своих сотрудников. «Цукунфт» сама первой вежливо поблагодарила Антима за прошлое. Тот принимал удары судьбы с ясным ликом истинно боголюбивой души.

– Слава богу, «Корреспондан» для вас будет всегда открыт, это я вам обещаю, – громко шептал ему Жюльюс.

– Но что же я туда, по-вашему, стану писать? – благодушно возражал Антим. – Все, что занимало меня вчера, сегодня уже не интересует.

Потом разговоры их прекратились. Жюльюс был должен вернуться в Париж.

Тогда же Антим под нажимом отца Ансельма покорно оставил Рим. Когда он лишился поддержки Ложи, денежный крах его наступил очень скоро, а визиты, на которые подталкивала его Вероника, полагавшаяся на поддержку Церкви, привели только к тому, что высшему духовенству он надоел, а там и стал раздражать. Ему дан был дружеский совет поехать в Милан и там дожидаться обещанного возмещения ущерба и крох от выдохшейся небесной милости.

Книга вторая
ЖЮЛЬЮС ДЕ БАРАЙУЛЬ

Поскольку никому никогда не следует закрывать обратный путь.
Кардинал де Ретц

I

В полночь с 30 на 31 марта семья Барайуль вернулась в Париж и проехала домой, в квартиру на улице Вернёй.

Маргарита готовилась ко сну, а Жюльюс, с маленькой лампой в руке, обутый в мягкие туфли, прошел к себе в рабочий кабинет – никогда он не входил туда без наслаждения. Комната была убрана скупо; несколько Лепинов и один Буден висели на стенах; в углу на поворотном цоколе резковатым, пожалуй, пятном белел мраморный бюст: портрет жены работы Шапю; посреди комнаты огромный стол в стиле Ренессанса, на котором за время отлучки накопились груды книг, брошюр и рекламных проспектов; на подносе перегородчатой эмали несколько визитных карточек с загнутыми углами, а в стороне, прислоненное, чтоб было видно, к бронзовой статуэтке работы Бари, – письмо. Жюльюс тотчас увидел по почерку, что оно от старика отца. Он немедленно

разорвал конверт и прочитал:

«Дорогой сын.

В последние дни силы мои резко пошли на убыль. По некоторым безобманным признакам я понимаю, что пора сдавать багаж, да и ни к чему уже торчать на станции.

Зная о Вашем возвращении в Париж нынче ночью, я надеюсь, что Вы не замедлите оказать мне такую услугу: по некоторым соображениям, о которых я Вам расскажу вскорости, мне необходимо знать, проживает ли еще молодой человек по имени Лафкадио Луйки (пишется «Влуйки», но «в» не произносится) в тупике Клода Бернара, № 12.

Очень буду обязан Вам, если Вы благоволите отправиться по этому адресу и спросить там названную особу. Как романист, Вы без труда найдете предлог пройти к нему. Мне очень надобно знать:

1) чем занят этот молодой человек;

2) к чему в жизни стремится (хочет ли чего-нибудь добиться? в какой области?);

3) и, наконец, укажите мне, каковы показались Вам его средства, способности, пристрастия, вкусы и проч.

Не ищите покамест увидеть меня: я в дурном расположении духа. Все эти сведения Вы можете передать точно так же в нескольких словах на письме. Если ко мне придет желание побеседовать с Вами или же я соберусь в дальний путь, то дам Вам знать.

Целую Вас.

Жюст-Аженор де Барайуль.

P. S. Никак не давайте понять, что Вы от меня: молодой человек меня не знает и не должен знать впредь.

Лафкадио Луйки теперь девятнадцать лет. Румынский подданный. Сирота.

Я пролистал Вашу последнюю книгу. Если после этого Вы не попадете в академию – сочиненную Вами дребедень оправдать нечем».

Отрицать не приходилось: пресса у последней книги Жюльюса была дурная. Несмотря на усталость, писатель проглядел вырезки из газет, где о нем писали неблагосклонно. Потом он растворил окно и вдохнул воздух туманной ночи. Окна квартиры писателя выходили в посольский сад – всеочищающую купель тьмы, где очи и дух омывались от нечистот мира и городских улиц. Несколько секунд он слушал ясную песню невидимого дрозда. Потом вернулся в спальню. Маргарита была уже в постели.

Боясь бессонницы, он взял на комоде флакон флердоранжевой настойки, которую часто употреблял. Никогда не забывая о супружеской предупредительности, он снял с ночного столика зажженную лампу и перенес на пол, но легкий звон хрусталя, раздавшийся, когда он выпил лекарство и поставил бокал обратно, проник в глубины забытья Маргари-

ты; с утробным мычанием она перевернулась лицом к стене. С радостью сочтя ее проснувшейся, Жюльюс подошел к кровати и, раздеваясь, сказал:

– Хочешь узнать, что отец сказал про мою книгу?

– Дорогой друг, у твоего отца нет никакого литературного вкуса, ты же сто раз мне это говорил, – прошептала Маргарита. Ей хотелось только спать.

Но у Жюльюса на сердце было чересчур тяжело:

– Он говорит, что я сочинил дребедень и нет мне оправданий.

Наступило довольно долгое молчанье, в которое Маргарита погрузилась, совершенно забыв о всякой литературе; Жюльюс уже смирился с тем, что остался в одиночестве, но она, из любви к нему, совершила великое усилие и выплыла на поверхность:

– Надеюсь, ты не будешь из-за этого нервничать?

– Как видишь, я к этому отношусь очень спокойно, – тотчас же ответил Жюльюс. – Но все-таки нахожу, что не отцу моему подобает так выражаться – кому угодно, только не моему отцу, особенно о той книге, которая, собственно говоря, не что иное, как памятник ему.

В самом деле, разве не образцовую карьеру старого дипломата начертал Жюльюс в своей книге? Разве не противопоставил он романтическим завихрениям достойную, спокойную, классическую жизнь Жюста-Аженора в семье и в политике?

– Но, к счастью, ты написал эту книгу не ради его признательности.

– Он намекнул мне, что я написал «Воздух вершин», чтобы меня избрали в академию.

– А хотя бы и так! Что с того, если тебя изберут в академию за хорошую книгу? – И жалостливо добавила: – Что ж, будем надеяться, что газеты и журналы его вразумят.

Жюльюс взорвался:

– Газеты! Журналы! Как бы не так! – Он обернулся к Маргарите и яростно прокричал, словно она в том была виновата: – Да меня там в пух и прах разносят!

И вот Маргарита совсем проснулась.

– Тебя там сильно критикуют? – спросила она участливо.

– И хвалят – возмутительно лицемерно.

– Как ты был прав, презирая этих газетчиков! Но вспомни, что писал тебе позавчера господин де Вогюэ: «Перо, подобное вашему, защищает Францию как меч!»

– «Перо, подобное вашему, от варварства, нам грозящего, защищает Францию лучше меча», – поправил Жюльюс.

– А кардинал Андре, обещая тебе свой голос, совсем недавно уверял, что за тобой вся Церковь.

– Вот уж толку-то!

– Друг мой!

– Мы с Антимом только что убедились, чего стоит самая высокая поддержка духовенства.

– Ты стал озлоблен, Жюльюс. Ты часто говорил мне, что

трудишься не ради награды, не ради чужих похвал – тебе довольно собственного одобрения; ты даже написал об этом прекрасные строки.

– Знаю, знаю, – сказал Жюльюс.

Его глубокой муке не помогали такие декокты. Он прошел в туалетную комнату.

Зачем он, увлекшись, позволил себе при жене эти жалкие излияния? Его тоска не из тех, что жены могут заласкать и убаюкать, поэтому из гордости, из стыда он должен был затворить ее в своем сердце. «Дребедень!» Пока он чистил зубы, это слово колотилось у него в висках, выталкивало его самые благородные помыслы. Какая же после этого цена была его последней книге? Он уже забывал саму фразу отца – забывал по крайней мере, что это фраза отца. Страшное вопрошание впервые в жизни восстало в нем – в нем, доселе встречавшем одни похвалы да улыбки: сомнение в искренности этих улыбок, в достоинстве этих похвал, в достоинстве своих трудов, в реальности своих мыслей, в подлинности своей жизни.

Он вернулся в спальню, рассеянно держа в одной руке зубную щетку, в другой стакан, поставил стакан, до половины полный розовой водой, на комод, в него щетку и присел за кленовый дамский столик, на котором Маргарита имела обыкновение писать письма. Взяв Маргаритину перьевую ручку, листок умеренно надушенной лиловатой бумаги, он торопливо начал:

«Дорогой отец!

Я нашел Вашу записку, вернувшись сегодня поздно вечером. Завтра займусь поручением, которое Вы мне доверили; надеюсь исполнить его к Вашему удовольствию и полагаю, что тем докажу Вам мою преданность».

Ибо Жюльюс был из тех благородных натур, которые в неприятных обстоятельствах являют свое настоящее величие. Он запрокинулся телом назад и, подняв перо, застыл на несколько минут, продумывая следующую фразу:

«Мне тяжко именно от Вас видеть заподозренным бескорыстие, с которым»…

Нет. Лучше так:

«Неужели вы думаете, что я меньше ценю ту литературную честность, нежели»…

Фраза не клеилась. Жюльюс сидел в пижаме; он почувствовал, что так может и простудиться, скомкал бумагу, взял стакан со щеткой, отнес в туалетную комнату, а скомканную бумагу выбросил там же в ведро.

Уже совсем ложась спать, он тронул жену за плечо:

– А ты что думаешь о моей книге?

Маргарита приоткрыла сонные глаза. Жюльюсу пришлось повторить вопрос. Маргарита, полуобернувшись, поглядела на него. Над поднятыми бровями Жюльюса рядами лежали морщины, губы закушены – его было жалко.

– Но что с тобой, друг мой? Неужели ты вправду думаешь, будто последняя твоя книга хуже всех остальных?

Это был не ответ: Маргарита увиливала.

– Да я думаю, что и другие не лучше этой!

– Ах вот как…

Видя подобное исступление, потеряв все силы и чувствуя, что здесь не помогут доводы любви, Маргарита повернулась спиной к свету и заснула.

II

Несмотря на некоторое профессиональное любопытство и лестную иллюзию, что ничто человеческое ему должно быть не чуждо, до сих пор Жюльюс редко выходил за пределы принятого в высшем классе и общался почти исключительно с людьми своего круга. Не хватало не столько желания, сколько случая. Собираясь выйти с сегодняшним визитом, Жюльюс вдруг сообразил, что у него даже вполне подходящего к случаю костюма нет. В его пальто, манишке и даже цилиндре было что-то слишком пристойное, скованное, изысканное… А может быть, все-таки и не нужно, чтобы его платье вызывало молодого человека на слишком скорое

сближение? Заслужить его доверие, думал Жюльюс, нужно разумными речами. По дороге же к тупику Клода Бернара он все время думал, с какими хитростями, под каким предлогом проникнуть туда и повести расследование.

Что могло быть общего между этим Лафкадио и графом Жюстом-Аженором де Барайулем? Неотвязный вопрос жужжал и кружил вокруг Жюльюса. Теперь, когда он окончил жизнеописание отца, уже не подобало задаваться вопросами о его жизни. Он желал знать о ней только то, что отец сам рассказывал. В последние годы граф стал молчалив, но скрытен никогда не был. Проходя Люксембургским садом, Жюльюс попал под ливень.

В переулке Клода Бернара у подъезда под двенадцатым номером стоял фиакр; проходя мимо, Жюльюс успел разглядеть в нем даму в довольно крикливом наряде и шляпе с чрезмерно большими полями.

Жюльюс назвал имя Лафкадио Луйки портье этого дома с меблированными комнатами, и сердце его заколотилось: романисту казалось, что он бросился навстречу какому-то диковинному приключению, – но когда он поднимался по лестнице, пошлость этого места, безликость обстановки отвратили его; любопытство, не находя себе новой пищи, угасло и сменилось брезгливостью.

На пятом этаже коридор без ковра, освещавшийся только с лестничной клетки, в нескольких шагах от площадки

изгибался коленом; с обеих сторон в него выходили закрытые двери; лишь в торцевой комнате дверь была приоткрыта и пробивался тоненький лучик света. Жюльюс постучался – напрасно; робко раскрыл дверь пошире: в комнате никого. Жюльюс спустился обратно.

– Если нет его, так скоро будет, – сказал портье.

Дождик лил ливмя. Рядом с прихожей, напротив лестницы, была комната ожидания, куда Жюльюс и прошел; там стоял такой затхлый запах, вид был так уныл, что Жюльюсу подумалось даже: с тем же успехом он мог открыть дверь наверху до конца и преспокойно дожидаться молодого человека в его комнате. Он снова поднялся на пятый этаж.

Когда он свернул в коридор, из комнаты рядом с торцевой вышла женщина. Жюльюс наткнулся на нее и попросил прощения.

– А вам кого?

– Господина Луйки – он здесь живет?

– Его нет дома.

– Ай-яй-яй! – воскликнул Жюльюс с таким непритворным огорчением, что женщина тут же спросила:

– У вас к нему что-то срочное?

Жюльюс приготовил оружие только против неизвестного ему Лафкадио и не знал, что делать теперь; может быть, эта женщина хорошо знает юношу; может быть, если ее разговорить…

– Я хотел у него кое-что разузнать.

– А вы от кого?

«Она решила, что я из полиции, что ли?» – подумал Жюльюс.

– Я граф Жюльюс де Барайуль, – сказал он довольно важно, приподнимая цилиндр.

– О, граф! Простите, пожалуйста, я вас не… Такой темный коридор! Проходите, сделайте милость! – Она открыла дверь торцевой комнаты. – Лафкадио, должно быть, скоро… Он только вот… Позвольте, позвольте!

Жюльюс уже входил в комнату, поэтому она бросилась вперед него: на стуле нахально валялись женские панталончики; скрыть их она не успела и постаралась хотя бы прибрать.

– Здесь такой беспорядок…

– Ничего, ничего! Я человек привычный, – попытался попасть в тон Жюльюс.

Карола Негрешитти была молода, полновата, а лучше сказать – толстовата, но хорошо сложена и на вид свежа, с чертами лица заурядными, но не вульгарными и довольно приятными, с нежным телячьим взглядом, с блеющим голоском. Поскольку сейчас она собиралась на улицу, на голове у нее была фетровая шляпка; с блузкой прямого покроя, перехваченной посередине поясом с морским узлом, она носила мужской воротничок и белые манжеты.

– А вы давно знакомы с господином Луйки?

– Может быть, я сама ему передам, что вам угодно? – от-

ветила она вопросом на вопрос.

– Понимаете… Я хотел узнать, очень ли он сейчас занят.

– День на день не приходится…

– Потому что если у него есть немного свободного времени, я думал попросить его… гм… кое-чем для меня заняться.

– А что за работа?

– Вот… понимаете ли… я как раз и хотел немножко разузнать, чем он, собственно, занимается…

Вопрос был задан без ухищрений, но по Кароле было видно, что с ней хитрить и не нужно. Между тем и граф опять вполне овладел собой; он устроился на том самом стуле, который Карола освободила, она присела рядом с ним на край стола и уже собралась рассказывать, но тут в коридоре послышался громкий шум, дверь со стуком распахнулась и появилась женщина, которую Жюльюс видел в экипаже.

– Ну, так я и знала! – заявила она. – Я же видела, как он вошел.

Карола тотчас отодвинулась от Жюльюса подальше:

– Да нет же, дорогая… мы так, разговаривали… Берта Гран-Марнье, моя подруга; граф… ой, простите, забыла вашу фамилию!

– Не имеет значения, – сказал Жюльюс немного смущенно, пожимая руку в перчатке, протянутую Бертой.

– А ты меня представь, – сказала Карола.

Берта, представив подругу, продолжала речь:

– Послушай, милочка, нас там уже битый час дожидаются. Если хочешь поговорить с этим господином, захвати его: я в экипаже.

– Да он не ко мне пришел.

– Тогда поехали! Вы не поужинаете сегодня с нами?

– Весьма сожалею.

– Простите, милостивый государь, – сказала Карола, покраснев и торопясь выпроводить подругу из комнаты. – Лафкадио вернется с минуты на минуту.

Девушки ушли, оставив дверь открытой; по незастеленному коридору шаги отдавались гулко; за поворотом входящего было не видно, но сразу слышно, что кто-то идет.

«Словом, надеюсь, комната скажет мне даже больше, чем женщина», – подумал Жюльюс. Он принялся хладнокровно изучать ее.

Увы, его неопытной любознательности не за что было зацепиться в этой пошлой меблирашке.

Ни книжной полки, ни картин на стенах. На камине – «Молль Флендерс» Даниеля Дефо по-английски в гадком издании, разрезанная чуть дальше середины, и «Новеллы» Антона Франческо Граццини, прозванного Ласка, по-итальянски. Эти книги Жюльюса заинтриговали. Рядом с ними бутылка мятного ликера, а за ней фотография, которая растревожила гостя еще больше: на песчаном морском берегу женщина, уже не молодая, но необычайно красивая, опирается

на руку мужчины ярко выраженного английского типа, элегантного и стройного, в спортивном костюме; у ног их на опрокинутом ялике сидит и смеется крепкий мальчишка лет пятнадцати с густыми растрепанными светлыми волосами, с бесстыдным взглядом и совершенно голый.

Жюльюс взял фотографию и поднес к окошку, чтобы в правом нижнем углу разобрать выцветшие слова: «Дуино, июль, 1886»; они ему почти ничего не сказали, хоть он и слыхал, что Дуино – деревушка на австрийском побережье Адриатики. Он покивал, закусив губы, и поставил фото на место. В остывшем камине притаились коробка с овсяной мукой, мешок с чечевицей и мешок с рисом; дальше у стены стоял шахматный столик. Ничто не указывало Жюльюсу на род занятий или предмет учения, которыми юноша занимал свои дни.

Лафкадио, видимо, только что позавтракал: на столе примус, на нем кастрюлька, в которой еще лежало полое железное яичко с дырочками – в таких заваривают чай туристы, экономящие на каждой мелочи багажа; вокруг грязной чашки остались крошки. Жюльюс подошел к столу: в нем был ящик, а в ящике ключ…

Мне бы не хотелось, чтобы дальнейшее создало о Жюльюсе ложное впечатление: меньше всего на свете он любил лезть в чужие тайны; он принимал жизнь каждого человека в тех поворотах, какие кому угодно было представить, и весьма почитал общественные приличия. Но приказ отца застав-

лял его унять свой нрав. Он еще мгновение выждал, прислушался: никто не идет, – и тогда – против желания, против собственных принципов, исключительно из деликатного чувства долга – выдвинул ящик, который, как оказалось, на ключ и не был заперт.

Там лежал блокнот в юфтяном переплете, который Жюльюс взял и раскрыл. На первой странице он прочел несколько слов тем же почерком, что и на фотографии:

«Кадио, чтобы он записывал сюда свои счеты.
Моему верному товарищу – его старый дядюшка
Фаби».

Ниже почти без отступа уверенным, прямым и четким полудетским почерком:

«Дуино, 10 июля, 1886. Сегодня утром к нам приехал лорд Фабиан. Он подарил мне ялик, карабин и этот красивый блокнот».

Больше на первой странице не было ничего.

На третьей странице под датой «29 августа» было записано: «Дал Фаби 4 сажени вперед»; на следующий день: «Дал 12 саженей вперед»…

Жюльюс понял: это всего лишь дневник тренировок. Впрочем, вскоре подневные записи оборвались, а на чистом

листке стояло:

«20 сентября. Отъезд из Алжира в Орес».

Потом еще несколько записей мест и дат, наконец, последняя из них:

«5 октября. Вернулись в Эль-Кантара. 50 км on horseback[4], без остановок».

Жюльюс перелистнул еще несколько чистых страниц; чуть дальше, как оказалось, дневник начинался заново. Наверху, как заголовок, крупными буквами было старательно выведено:

«QUI INCOMINCIA IL LIBRO
DELLA NOVA ESISTENZA
E
DELLA SUPREMA VIRTU»[5].

Потом ниже, как эпиграф:

«Tanto quanto se ne taglia. Boccaccio»[6].

Указание на мысли о нравственности тотчас же пробудило

---

[4] На крупе лошади *(англ.)*.

[5] Здесь начинается книга новой жизни и высочайшей доблести (*ит.*).

[6] Столько, сколько отрежется. Боккаччо *(ит.)*.

интерес Жюльюса: он за тем и охотился.

Но уже на следующей странице ему пришлось разочароваться: опять шли цифры. Правда, цифры уже другого рода. Друг за другом следовали записи, но без указания дат и мест:

«За то, что обыграл Протоса в шахматы, – 1 пунта.
За то, что показал, что говорю по-итальянски, – 3 пунты.
За то, что ответил раньше Протоса, – 1 п.
За то, что оставил за собой последнее слово, – 1 п.
За то, что плакал, узнав о смерти Фаби, – 4 п.».

Торопливо читая записи, Жюльюс принял слово «пунта» за название иностранной монеты; эти счеты ему показались мелочным, ребяческим торгом за вознаграждение заслуг. Потом оборвались и эти цифры. Жюльюс перевернул еще страницу и прочел:

«4 апреля. Сегодня в разговоре с Протосом:
«Понимаешь ли, что заключено в словах “ну и пусть”?».
На этом записи заканчивались.

Жюльюс пожал плечами, закусил губы, покачал головой и положил блокнот обратно в ящик. Вынул часы, встал, подошел к окну, посмотрел на улицу: дождь кончился. Он пошел взять свой зонтик, который, входя, оставил в углу, и тут увидел: в дверном проеме, держась за косяк и чуть-чуть отступив назад, на него с улыбкой глядит красивый белокурый

молодой человек.

III

Тот подросток с фотографии почти не вырос. Жюст-Аженор сказал – ему девятнадцать; дать можно было не больше шестнадцати. Несомненно, Лафкадио вошел только что: когда Жюльюс клал блокнот на место, он уже взглянул на дверь, и там не было никого, – но как же он не услышал шагов? Инстинктивно взглянув юноше на ноги, Жюльюс увидел: вместо ботинок тот носил калоши.

Лафкадио улыбался. В его улыбке не было никакой злобы: она казалась довольно веселой, но иронической; он стоял, как был, в дорожной фуражке, но, встретившись взглядом с Жюльюсом, снял ее и церемонно поклонился.

– Господин Луйки? – спросил Жюльюс.

Молодой человек снова поклонился и ничего не ответил.

– Простите, что я дожидался вас тут, в вашей комнате. По правде сказать, сам бы я не посмел войти, но меня сюда провели.

Жюльюс говорил быстро и громче обыкновенного, чтобы себе самому доказать, что ничуть не смущен. Лафкадио почти неприметно нахмурился, подошел к зонтику Жюльюса; ни слова не говоря, он взял его и выставил сохнуть в коридор; потом вернулся в комнату и знаком пригласил гостя сесть.

– Вы, конечно, удивлены моим визитом?

Лафкадио невозмутимо достал из серебряного портсигара сигарету и закурил.

– Я в коротких словах объясню вам причину, которая меня сюда привела, и вы сразу поймете…

Чем больше он говорил, тем больше чувствовал, как испаряется его уверенность в себе.

– Так что… но позвольте мне прежде назвать себя… – И, словно стесняясь произнести свое имя, он достал из жилетного кармана визитную карточку и протянул Лафкадио; тот не глядя положил ее на стол. – Сам я… словом, я только что завершил одну довольно серьезную работу; работа небольшая, но мне некогда самому ее переписывать набело. Мне кое-кто сказал, что у вас превосходный почерк, и я подумал, что, собственно говоря… – взгляд Жюльюса красноречиво прошелся кругом по наготе комнаты, – вам, подумал я, не будет неприятно…

– В Париже никто, – перебил его Лафкадио, – ни один человек не мог рассказать вам про мой почерк. – Тут он обратил взгляд на ящик стола (Жюльюс и не подозревал, что сорвал с него неприметную восковую печать), в сердцах повернул ключ в замке и спрятал в карман. – И никто не имеет права об этом рассказывать, – продолжал он, глядя, как покраснел Жюльюс. – С другой стороны, – он говорил очень медленно, словно без смысла и без всякого выражения, – я пока что не очень ясно вижу, по каким причинам господин… – Он взглянул на карточку. – Какие особенные причины граф

Жюльюс де Барайуль может иметь интересоваться именно мной. Впрочем, – и тут его голос, в подражанье Жюльюсу, вдруг стал таким же густым и насыщенным, – ваше предложение вполне может быть рассмотрено лицом, имеющим, как вы могли заметить, денежные затруднения. – Он встал. – Позвольте мне, ваше сиятельство, передать вам ответ завтра утром.

Предложение закончить визит было недвусмысленным. Жюльюс чувствовал, что на его месте лучше не настаивать. Он взял шляпу, немного помедлил, неловко промолвил:

– Я бы хотел еще побольше поговорить с вами. Позвольте мне надеяться, что завтра… Буду ждать вас после десяти.

Лафкадио поклонился.

Как только Жюльюс завернул за угол коридора, Лафкадио захлопнул дверь и закрыл на задвижку. Кинувшись к столу, он вытащил из ящика блокнот, открыл на последней проболтавшейся странице и карандашом на том самом месте, где бросил записи уже много месяцев назад, написал крупным угловатым почерком, совсем не похожим на прежний:

«За то, что позволил Олибриусу сунуть свой гадкий нос в этот блокнот, – 1 пунта».

Он вынул из кармана перочинный ножик, лезвие которого так сточилось, что превратилось уже в подобие короткого шила, накалил его на спичке и разом воткнул себе через

карман штанов в ногу. Гримасы боли он сдержать не смог. Но этого было ему еще не довольно. Не присаживаясь, склонившись над столом, он приписал под последней фразой:

«А за то, что дал ему понять, что знаю об этом, – 2 пунты».

На сей раз он еще помедлил, расстегнул штаны и отогнул в сторону. Он осмотрел ногу, на которой кровоточила маленькая свежая ранка, осмотрел и старые шрамы, покрывавшие все бедро, как следы от прививок. Снова раскалил лезвие и опять дважды, без перерыва, вонзил в свое тело.

– Раньше я так не осторожничал, – сказал он про себя, взяв бутылку мятного ликера и вылив несколько капель на ранки.

Гнев его понемногу унялся, но, ставя бутылку на место, он заметил, что фотография, где он вместе с матерью, чуть переставлена. Тогда он схватил ее, взглянул в последний раз с какой-то тоской; кровь прилила волной к его лицу, и он в ярости разорвал фото. Обрывки он хотел сжечь, но они загорались плохо; тогда он вытащил из камина мешочки с едой, поставил туда вместо подставки для дров две свои единственные книжки, из блокнота выдрал по листочку, разодрал в клочки, в мелкую крошку, положил туда же обрывки фотографии и все поджег.

Уставившись в огонь, он убеждал себя, что ему неизъяснимое удовольствие доставляет глядеть, как сгорают эти вос-

поминания, но когда остался только пепел и Лафкадио встал, голова у него немного кружилась. Комната была вся в дыму. Он подошел к умывальнику и намочил лоб.

После этого прояснившимися глазами он посмотрел на визитную карточку.

– «Граф Жюльюс де Барайуль», – повторил он. – Dapprima importa sapere chi e[7].

Он сорвал с шеи платок, который носил вместо галстука и воротничка, до середины расстегнул рубашку и встал у раскрытого окна, омывая тело свежим воздухом. Потом Лафкадио вдруг заторопился, быстро обулся, повязал платок, надел благопристойную серую шляпу – безобидную, цивилизованную по всей мере возможности, – закрыл за собой дверь и зашагал в сторону площади Сен-Сюльпис. Там, в Кардинальской библиотеке напротив мэрии, он, конечно, получит все желаемые справки.

IV

Когда он шел мимо Одеона, ему на глаза попался роман Жюльюса: книга в желтой обложке, один вид которой в любой другой день навел бы на Лафкадио зевоту. Он вытащил кошелек и выкинул на прилавок кругляш в сотню су.

«Ну вот и на вечер растопка!» – подумал он, унося книжку

---

[7] Прежде всего надо узнать, кто это *(ит.)*.

и сдачу.

В библиотеке «Словарь современников» в немногих словах описал ему бесформенный жизненный путь Жюльюса, перечислил заглавия его произведений и похвалил их такими чинными словами, что читать их сразу пропадала охота.

Тьфу! – сплюнул Лафкадио. Он уже хотел поставить словарь на место, но тут вздрогнул от нескольких слов, попавшихся на глаза в предыдущей статье. Несколькими строчками выше заголовка «Барайуль, Жюльюс де, виконт» Лафкадио прочел в биографии Жюста-Аженора: «С 1873 года посланник в Бухаресте». И почему же от этих простых слов так забилось его сердце?

Мать Лафкадио дала ему пятерых дядюшек, отца же своего он не знал, был согласен считать его умершим и всегда воздерживался от вопросов о нем. Что касается дядюшек (все они были разных национальностей, причем трое из них дипломаты), он быстро убедился, что в родстве с ними ровно настолько, насколько это было угодно красавице Ванде, и никак иначе. Но Лафкадио только что исполнилось девятнадцать. Он родился в Бухаресте в 1874 году – как раз в конце второго года, когда граф де Барайуль жил там, исполняя служебные обязанности.

Загадочный визит Жюльюса насторожил юношу, и как он мог теперь видеть в этом только случайное совпадение? Он приложил все силы, чтобы прочесть статью «Жюст-Аженор де Барайуль», но строчки плясали у него перед глазами; по

крайней мере он понял, что граф де Барайуль, отец Жюльюса, – лицо значительное.

Неслыханная радость разорвалась в его сердце: оно заколотилось так, что он испугался, не слышат ли стук даже окружающие. Но нет – одежды кожаные оказались прочны и непроницаемы. Он с хитрой улыбкой оглядел соседей – завсегдатаев читального зала, поглощенных своей дурацкой работой… «Граф родился в 1821 году, – подсчитывал он. – Теперь ему, стало быть, семьдесят два… Ma chi sa se vive ancora?..»[8] Он поставил словарь на место и вышел.

Несколько облачков, подгоняемых довольно свежим ветром, виднелись на голубом небе. «Importa di domesticare questo nuovo proposito»[9], – думал Лафкадио, больше всего на свете ценивший свободу распоряжаться собой; отчаявшись призвать к порядку взвихренную мысль, он решил на время изгнать ее из мозга. Он вынул из кармана роман Жюльюса и приложил все силы, чтобы увлечься книгой, но там не было никаких околичностей, никаких загадок: что-что, а это забыться никак не позволяло.

«А ведь завтра я стану играть роль секретаря у того, кто написал это!» – невольно твердил Лафкадио про себя.

Он купил газету и вошел в Люксембургский сад. Скамейки стояли мокрые; он раскрыл книгу, сел на нее и развернул газету на разделе происшествий. Его глаза тотчас же, как

---

[8] Но кто знает, жив ли он? *(ит.)*

[9] Теперь дело другое, к этому надо привыкнуть *(ит.)*.

будто так и должно было быть, наткнулись на строчки:

«Здоровье графа Жюста-Аженора де Барайуля, в последние дни, как известно, внушавшее серьезные опасения, кажется, идет на поправку. Он, однако, все еще слаб и может принимать лишь немногих близких».

Лафкадио так и подпрыгнул на скамейке: решение было принято в один миг. Забыв книгу, он бросился к писчебумажной лавке на улице Медичи, где, как он помнил, объявление в витрине обещало «визитные карточки за одну минуту, 3 франка за сотню». Он шел и улыбался; дерзость внезапного замысла его забавляла: у него была страсть к приключениям.

– Когда я смогу получить сотню карточек? – спросил он лавочника.

– Сегодня вечером будет готово.

– Плачу двойную цену, если сделаете к двум часам.

Лавочник сделал вид, что проверяет что-то по книге заказов.

– Из уважения к вам… да, в два часа можете забрать. На какое имя?

И не вздрогнув, не покраснев, только с чуть трепещущим сердцем, на листке, протянутом лавочником, он написал:

«ЛАФКАДИО ДЕ БАРАЙУЛЬ».

«Не принял меня этот олух за человека, – подумал он, уходя: его задело, что лавочник не поклонился ему ниже прежнего. Тут он прошел мимо стеклянной витрины: – Впрочем, надо признать, вид у меня не больно-то барайулистый. Ну что ж, попробуем приблизиться к образцу».

Двенадцати еще не было. Лафкадио был переполнен возбужденными мечтами – есть ему не хотелось.

«Пройдусь немного, а то совсем воспарю, – думал он. – Да пойду по мостовой; если я подойду к прохожим вплотную, они сразу заметят, что я выше их на голову. Еще одно превосходство, которое нужно скрывать. Учиться никогда не поздно».

Он зашел на почту.

«Площадь Мальзерб… – подумал он, посмотрев в адресной книге, где живет граф Жюст-Аженор. – Это потом. Но кто мешает провести сегодня разведку на улице Вернёй (этот адрес был написан на визитной карточке Жюльюса)?»

Этот район Лафкадио знал и любил; с людного бульвара он свернул на тихую улицу Вано, где его молодой радости дышалось легче. На углу Вавилонской улицы он увидел бегущих людей, а около тупика Удино собралась толпа перед одним трехэтажным домом, из окон которого валил довольно зловещий дым. При всей гибкости своей фигуры Лафкадио не прогнулся настолько, чтоб побежать вместе со всеми.

Лафкадио, друг мой, вы попали в хронику происшествий,

и мое перо оставляет вас. Не ждите, что я буду передавать несвязные речи, крики толпы…

Выкручивась ужом, Лафкадио пробрался через толкучку в первый ряд. Там на коленях рыдала беднячка.

– Дети! Деточки мои! – твердила она.

Ее держала под руки девушка, чей простой элегантный наряд показывал, что они не родственницы, – очень бледная и такая красивая, что Лафкадио тотчас подошел к ней и спросил, в чем дело.

– Нет, сударь, я ее не знаю. Я только поняла, что у нее двое маленьких детей в той комнате на третьем этаже, куда вот-вот доберется огонь; уже горит на лестнице; пожарников вызвали, но пока они доедут, малыши задохнутся в дыму… Скажите, сударь, а нельзя ли взобраться на балкон по этой стене, а потом – видите? – вон по тому тонкому водостоку? Тут, говорят, воры уже так лазили; для воровства кто-то это сделал, а чтобы спасти детей – все трусят. Я уж и этот кошелек предлагала – все напрасно… Ах, почему я не мужчина!

Дальше Лафкадио не слушал. Он положил шляпу и трость к ногам девушки и бросился вперед. Он влез на брандмауэр, никого не попросив о помощи, подтянулся на руках и встал на ноги. Потом пошел по стене, переступая через натыканные на ней осколки стекла.

Но еще пуще прежнего толпа разинула рты, когда он взялся за водосточную трубу и полез по ней на одних руках, елеле кое-где касаясь ногами ее креплений. Вот он дотронул-

ся рукой до балкона, вот ухватился за перила; толпа им восхищается и уже не боится: он поистине в совершенстве владеет собой. Плечом вдребезги разбивает окошко, исчезает в комнате… Настал миг невыразимо тягостного ожидания… И вот все видят, как он появляется с плачущим малышом на руках. Он разорвал простыню, связал обрывки концами и сделал веревку, привязал к ней ребенка и опустил прямо в руки потрясенной матери. То же и со вторым…

Когда Лафкадио спустился, толпа приветствовала его как героя.

«Они меня за циркача принимают», – подумал он, с ужасом почувствовав, что краснеет, и с грубым неудовольствием отклонил овацию. Но когда он опять подошел к девушке, а та, вместе со шляпой и с тростью, смущенно протянула ему обещанный кошелек, он улыбнулся, взял его, высыпал лежавшие там шестьдесят франков и отдал бедной женщине, которая теперь осыпала обоих детей поцелуями.

– А кошелек вы разрешите мне оставить на память о вас, сударыня?

Кошелек был маленький, с вышивкой. Он поцеловал его. Тут они поглядели друг на друга. Девушка была взволнована, еще бледнее прежнего и, казалось, хотела что-то сказать. Но Лафкадио внезапно удрал, раздвигая тросточкой толпу, и так он был хмур, что и крики все тотчас же стихли, и никто за ним не последовал.

Он опять пошел к Люксембургскому саду, кое-как перекусил в «Гамбринусе» рядом с Одеоном и поскорей вернулся к себе в комнату. Под плинтусом прятал он свои сбережения: три монеты по двадцать франков и одна десятка явились из тайника. Он подсчитал:

Визитные карточки: шесть франков.

Пара перчаток: пять франков.

Галстук: пять франков (да за такие деньги найдешь ли приличный?).

Пара туфель: тридцать пять франков (долгой службы у них никто не спросит).

Остается девятнадцать франков на непредвиденные расходы.

(Лафкадио терпеть не мог долгов, поэтому платил всегда наличными.)

Он подошел к шкафу и достал черный шевиотовый костюм, превосходно скроенный и совсем не поношенный.

«Только беда в том, что я с тех пор вырос…» – вздохнул он, припоминая великолепные времена, еще недавние, когда его последний дядюшка маркиз де Жевр водил к своим портным элегантного юношу.

Плохо сидящая одежда была для Лафкадио таким же смертным грехом, как для кальвиниста ложь.

«Но главное не в этом. Дядюшка де Жевр говорил: человека встречают по обуви».

И первым делом, из уважения к туфлям, которые будет

мерить, Лафкадио переменил носки.

V

Вот уже пять лет граф Жюст-Аженор де Барайуль не выходил из своей роскошной квартиры на площади Мальзерб. Здесь он готовился к смерти, задумчиво бродя по залам, сплошь уставленным художественными собраниями, но чаще затворясь в своей комнате и предавая болящие плечи и руки услугам нагретых салфеток и болеутоляющих компрессов. Огромный платок цвета мадеры тюрбаном обворачивал его прекрасную голову; один конец тюрбана свободно свисал на кружевной воротник и толстый вязаный жилет цвета гаванских сигар, по которому серебристыми волнами рассыпалась борода Жюста-Аженора. Ноги в кожаных белых бабушах лежали на грелке с водой. Истощенные руки он по очереди окунал в раскаленный песок, под которым бледным светом горела спиртовка. Колени закрывал серый плед. Он, конечно, был похож на Жюльюса, но еще больше на какой-то портрет Тициана, а Жюльюс представлял собой лишь опошленное воспроизведение его черт, как и жизнь его представил в «Воздухе вершин» подслащенной и свел ее к никчемности.

Жюст-Аженор де Барайуль пил из чашки целебный настой и слушал наставления отца Авриля, своего духовника, с которым завел привычку часто советоваться. Вдруг в дверь

постучали, и верный Эктор, который уже лет двадцать исполнял при графе обязанности выездного лакея, сиделки и, при необходимости, советника, подал эмалированный поднос, а на нем запечатанный конвертик:

– Этот господин надеется, что ваше сиятельство благоволит принять его.

Жюст-Аженор отставил чашку, разорвал конверт и вытащил карточку Лафкадио. Он нервно скомкал ее в руке:

– Скажите ему… – Но тут же пришел в себя. – Господин? Ты хотел сказать – молодой человек? А какого этот человек сорта?

– Ваше сиятельство может принять такого.

– Дорогой аббат, – обратился граф к отцу Аврилю, – извините, что мне придется просить вас прервать нашу беседу, но завтра приходите непременно: у меня, по-видимому, будут для вас новости, и я думаю, что вы останетесь довольны.

Пока отец Авриль шел до двери гостиной, граф сидел, закрыв лицо руками. Потом поднял голову и сказал:

– Проси.

Лафкадио вошел в комнату, глядя прямо, с мужественной уверенностью в себе, встал перед стариком и важно поклонился. Поскольку он дал себе слово ничего не говорить, не сосчитав прежде до двенадцати, разговор начал граф:

– Прежде всего знайте, милостивый государь мой, что никакого Лафкадио де Барайуля не существует, – сказал он,

разрывая карточку. – А господину Лафкадио Луйки, поскольку вы с ним, должно быть, коротко знакомы, благоволите передать, что если он намерен играть этими бумажками и не порвет их так, как это делаю я, – он превратил карточку в мелкие-мелкие клочки и бросил их в пустую чашку, – я тотчас же дам знать полиции, и его арестуют, как обыкновенного мошенника. Вы поняли меня? Теперь пройдите к свету, чтобы я вас разглядел.

– Лафкадио Луйки повинуется вам, милостивый государь. – Он говорил очень почтительно, голос его чуть дрожал. – Простите ему способ, который он избрал, чтобы к вам пройти; у него в мыслях не было никаких бесчестных намерений; он только хотел убедить вас, что заслуживает… что вы по крайней мере сможете его по заслугам оценить.

– Вы хорошо сложены. Но этот костюм не очень хорошо на вас сидит, – продолжал граф, не желая слушать его.

– Так я не ошибся? – сказал Лафкадио, решившись улыбнуться. Он безропотно давал себя осматривать.

– Похож, слава богу, на мать, – прошептал старик Барайуль.

Лафкадио выждал положенное время и тоже почти шепотом, пристально глядя на графа, произнес:

– Если я не чрезмерно себя выдаю, не будет ли мне позволено походить также на…

– Я говорил о внешности. Если же вы имеете нечто не только от матери, Господь уже не оставил мне времени

узнать об этом.

В этот миг серый плед соскользнул с его коленей. Лафкадио бросился поднять его, и, когда он стоял наклоненный, рука старого графа ласково легла ему на плечо.

– Лафкадио Луйки, – продолжил граф Жюст-Аженор, когда юноша встал, – дни мои сочтены. Я не буду соревноваться с вами в хитроумии: мне это утомительно. Я признаю, что вы не глупы; мне приятно, что вы не урод. То, что вы пошли на риск, показывает некоторое удальство, и оно вам пристало; сначала я подумал, не бесстыдство ли это, но ваш голос, ваши манеры меня успокаивают. Что касается прочего, я просил своего сына Жюльюса разузнать об этом для меня, но теперь понял, что не особенно этим интересуюсь: это не так важно, как видеть вас. Теперь, Лафкадио, послушайте меня. Никакое свидетельство, никакая бумага не удостоверяют вашу личность. Я позаботился о том, чтобы вы не имели никакой возможности заявить свои права. Нет, не возражайте, не говорите мне о своих чувствах: это бесполезно; не перебивайте меня. Ваше прежнее молчание удостоверяет меня в том, что ваша мать сдержала обещание и ничего вам про меня не говорила. Это хорошо. Поскольку и я взял на себя перед ней обязательства, вы убедитесь в моей признательности. Через посредство Жюльюса, моего сына, я, невзирая на юридические затруднения, передам ту часть наследства, которую обещал вашей матери сохранить за вами. А именно: от другой моей наследницы, моей дочери графини де Сен-

При, я переведу на имя Жюльюса долю, разрешенную мне законом, и это будет как раз та сумма, которую я хочу передать вам через него. Это будет, я полагаю… тысяч сорок ливров ренты; чуть позже я увижу своего нотариуса, и мы с ним проверим точную цифру. Садитесь, садитесь, если так вам меня лучше слышно. (Дело было в том, что Лафкадио присел на краешек стола.) Жюльюс может воспротивиться; закон на его стороне; я полагаюсь на его порядочность, что он так не сделает, а на вашу – в том, что вы не нарушите покой его семьи, как ваша мать не нарушила покой моей. Для Жюльюса и его детей существует только Лафкадио Луйки. Я не желаю, чтобы вы носили по мне траур. Семья, дитя мое, – дело великое и непроницаемое; вы навсегда останетесь незаконнорожденным.

Несмотря на приглашение отца, который заметил, как юноша пошатнулся, Лафкадио не сел на стул; он одолел головокружение и только опирался на стол, где стояли чашки и грелки, по-прежнему сохраняя весьма почтительную позу.

– Теперь скажите мне: итак, утром вы видели моего сына Жюльюса. Он вам сказал…

– Он, собственно, ничего не сказал: я сам догадался.

– Вот неуклюжий! О… это я не про вас. Вы с ним еще будете встречаться?

– Он просил меня поступить к нему в секретари.

– Вы согласились?

– Вам это не нравится?

– …Не то чтобы так. Но я думаю, лучше, если вы… друг друга не признаете.

– Я тоже так думаю. Но признать не признать, а немного познакомиться с ним я хотел бы.

– Однако вы, я полагаю, не намерены долго оставаться в положении подчиненного?

– Только пока не поправлю свои дела.

– А потом? Теперь у вас есть средства – что вы намереваетесь делать?

– Ах, сударь, еще вчера мне было нечего есть – нужно же время понять, чего алчет душа.

В этот момент в дверь постучал Эктор:

– Господин виконт желает видеть ваше сиятельство. Прикажете принять?

Лицо старика помрачнело; сперва он молчал, но когда Лафкадио вежливо дал понять, что удаляется, крикнул:

– Стойте! – и властный голос Жюста-Аженора заставил юношу повиноваться.

Граф обратился к Эктору:

– Что же это! Ведь я именно просил его не искать встречи со мной… Скажи ему, что я занят… что я… что я ему напишу.

Эктор поклонился и вышел.

Старый граф еще несколько секунд сидел, закрыв глаза; казалось, он спит, но под бородой было видно, как шевелятся губы. Наконец он поднял веки, протянул Лафкадио руку и

сказал совсем другим голосом – более ласковым и как бы утомленным:

– Прикоснитесь к ней, дитя мое. Теперь вы должны меня оставить.

– Я должен вам кое в чем признаться, – сказал Лафкадио не без колебания. – Чтобы прилично явиться к вам, я истратил последние сбережения. Если вы мне не поможете, я не знаю, как поужинаю сегодня… а завтра и подавно… разве что ваш сын…

– Нате, возьмите, – сказал граф, доставая из ящика стола пятьсот франков. – Что же? Чего вы еще ждете?

– Я бы хотел еще попросить вас… не могу ли я надеяться опять вас увидеть?

– Честно признаюсь: мне это доставило бы удовольствие. Но преподобные особы, которые занимаются моим вечным спасением, держат меня в таком состоянии духа, что удовольствие для меня теперь – дело десятое. Благословение же мое я вам дам сию же минуту. – И старик распахнул руки навстречу юноше.

Лафкадио не бросился прямо в его объятья, а благочестиво преклонил свои колени, на колени графу положил голову и, зарыдав, растаяв, как только старец обхватил его руками, почувствовал, как из сердца его уходят жестокие намерения.

– Дитя мое, дитя мое… – лепетал старик. – Как поздно я встретил вас…

Когда Лафкадио встал, все лицо его было в слезах.

Собираясь уходить и забирая деньги (он взял их со стола не сразу), Лафкадио наткнулся в кармане на свои визитные карточки и подал их графу:

– Возьмите, тут вся пачка.

– Я вам доверяю: порвите их сами. Прощайте!

«Он был бы лучшим из моих дядюшек, – размышлял Лафкадио, возвращаясь в Латинский квартал, – и даже не только дядюшек… – добавил он про себя с толикой грусти. – Ладно!»

Он достал пачку визитных карточек, развернул их веером и одним движеньем без всякого усилия разорвал.

– Никогда не доверял сточным канавам, – тихонько сказал он, кидая в решетку «Лафкадио», и только еще через две решетки выкинул «Барайулей».

«Какая разница, что Барайуль, что Луйки – теперь займемся уничтожением прошлого!»

Он знал на бульваре Сен-Мишель одну ювелирную лавку, перед которой Карола что ни день насильно останавливала его; позавчера она приглядела в этой наглой витрине необычные запонки для манжет. Их было четыре, и они – соединенные попарно золотыми скрепочками, вырезанные из какого-то странного кварца, какого-то дымчатого агата, через который ничего не было видно, хотя он казался прозрачным, – имели вид кошачьих головок, обведенных кружком. Как уже было сказано, Карола Негрешитти с мужским блузоном (так называемым костюмом «тайёр») носила манжеты

и, поскольку вкус у нее был несуразный, очень хотела к ним эти запонки.

Они были не столько забавные, сколько странные; Лафкадио находил их ужасными; ему было бы очень неприятно видеть их на своей любовнице, но теперь-то он ее бросал… Он вошел в лавку, заплатил за них сто двадцать франков.

– И листок бумаги, будьте любезны. – На листке, протянутом продавцом, он, стоя тут же у прилавка, написал:

«Кароле Негрешитти – с благодарностью за то, что провела ко мне в комнату незнакомого человека, и с просьбой никогда больше в эту комнату не входить».

Сложенный листок он сунул в ту же коробочку, в которую продавец упаковал запонки.

Уже собравшись передать коробочку портье, он подумал: «Торопиться нечего. Проведем под этой крышей еще одну ночь, только надобно сегодня запереться от девицы Негрешитти».

VI

Жюльюс де Барайуль уже слишком долго жил в режиме переходной морали – той самой, которую признавал для себя Декарт, пока не установил непреложные правила для жизни и денежных расходов. Но темперамент Жюльюса не проявлялся достаточно непреклонно, а мысль его – достаточно

властно, чтобы романиста сильно смущала необходимость покоряться установленным приличиям. В конечном счете он требовал только комфорта, в который литераторский успех входил составной частью. Когда его последнюю книгу обругали, он впервые почувствовал себя уязвленным.

Весьма неприятно было ему и тогда, когда отец отказал в приеме, и еще неприятнее стало бы, если бы он знал, кто именно опередил его там. Возвращаясь на улицу Вернёй, он все слабей отклонял неотвязное предположение, что преследовало его уже с того времени, как он побывал у Лафкадио. Он тоже связывал даты с фактами; он тоже теперь не мог видеть в таких совпадениях простую случайность; впрочем, юная грация Лафкадио его очаровала, и хотя он догадывался, что в пользу незаконного сына отец отберет у него какую-то часть наследства, но никаких дурных чувств к нему не испытывал; нынче утром он ожидал его даже с благосклонно-любознательной симпатией.

Что же до Лафкадио, то как бы ни был он угрюм и замкнут, редкая возможность поговорить соблазняла его – как и возможность обеспокоить немного Жюльюса. Ведь даже с Протосом он никогда не говорил действительно по душам. А с тех пор столько воды утекло! Да и Жюльюс ему был не противен, хотя и показался марионеткой; было забавно, что у тебя такой брат.

Когда он утром, на следующий день после посещения Жюльюса, шагал к его жилищу, с ним случилось довольно

странное происшествие. Из любви к кривым путям, возбуждавшейся, быть может, его гением, а также для того, чтобы унять волнение тела и духа и дома у брата вполне владеть собой, Лафкадио выбрал самую длинную дорогу. Он пошел по бульвару Инвалидов, миновал место вчерашнего пожара, затем свернул на улицу Бельшасс.

«Улица Вернёй, 34, – твердил он про себя. – Три да четыре – семь: хорошее число».

Он вышел на улицу Сен-Доминик в том месте, где она пересекает бульвар Сен-Жермен, и тут на другой стороне бульвара увидел девушку, тотчас ее, как ему показалось, узнав: ту самую девушку, что со вчерашнего дня непрерывно занимала все его мысли… Он сразу же прибавил шагу. Да, это была она! Он догнал ее в конце короткой улочки Виллерсексель, но, рассудив, что подойти к ней было бы не по-барайульевски, лишь улыбнулся и слегка поклонился, скромно приподняв шляпу; потом торопливо ее обогнал и нашел наилучший выход из положения, завернув в табачную лавку, а она прошла опять вперед него и свернула на Университетскую улицу.

Выйдя из лавочки и на ту же улицу повернув, Лафкадио глядел во все стороны – девушки не было. Лафкадио, друг мой, вы впадаете в совершенную заурядность! Ежели вам пришлось влюбиться, на мое перо не рассчитывайте: раздрай в вашем сердце описывать я не стану… Но нет: продолжать преследование показалось ему непристойным, к тому же он

не хотел с опозданием прийти к Жюльюсу, а сделанный крюк уже не оставлял времени на шалопайство. Улица Вернёй, по счастью, была недалеко, а дом, в котором проживал Жюльюс, – первый от угла. Лафкадио проронил консьержу фамилию графа и бегом бросился вверх по лестнице.

Между тем Женевьева де Барайуль – ведь это она, старшая дочь графа Жюльюса, возвращалась из больницы Болящих Младенцев, куда ходила каждое утро, – еще более, чем Лафкадио, смущенная новой встречей, с великой поспешностью устремилась в родительский дом; в ворота она вошла в тот самый миг, когда Лафкадио появился из-за угла; когда же она поднялась на третий этаж, торопливые скачки за спиной заставили ее оглянуться; кто-то бежал, быстро ее догоняя; она посторонилась, чтоб пропустить бегущего, но вдруг узнала застывшего в недоумении прямо перед ней Лафкадио.

– Достойно ли вас, сударь, так преследовать меня? – сказала она таким гневным голосом, на какой только была способна.

– Увы, сударыня, как же вы будете обо мне думать? – воскликнул Лафкадио. – Вы мне не поверите, если я вам скажу, что не видел, как вы вошли в этот дом, и крайне поражен, что вы здесь. Разве не здесь живет граф Жюльюс де Барайуль?

– Как? – ответила Женевьева, покраснев. – Так вы тот новый секретарь, которого дожидается мой отец? Господин Лафкадио Лу… у вас такое необычное имя, я не могу его

выговорить. – Лафкадио тоже покраснел и поклонился; тогда она продолжила: – Сударь, уж раз я вас встретила, могу ли просить вас об одолжении не говорить родителям о вчерашнем случае? Им, я знаю, совсем не понравится, а главное – кошелек: я сказала, что потеряла его.

– И я вас, сударыня, просил бы молчать о той дурацкой роли, которую вы меня заставили сыграть. Я такой же, как ваши родители: совершенно этого не понимаю и не одобряю. Вы, должно быть, приняли меня за собаку-спасателя. Я не мог удержаться… Простите. Мне надо еще научиться… но я научусь, уверяю вас. Не позволите ли ручку?

Женевьева де Барайуль сама себе не признавалась, что находит Лафкадио очень красивым, а Лафкадио не призналась, что он ей отнюдь не казался смешным, а, напротив, предстал как герой. Она протянула ему ручку; он порывисто поднес ее к губам; тогда она просто улыбнулась ему и попросила спуститься на несколько ступенек, подождать, пока она войдет, закроет за собой дверь, и тогда уже самому позвонить – так, чтобы их не видели вместе, а главное – затем не выдавать, что они уже прежде встречались.

Через несколько минут Лафкадио провели в кабинет романиста.

Жюльюс его принял со всей предупредительностью, но не знал, с чего начать, и Лафкадио тотчас же встал в защитную стойку:

– Милостивый государь, сразу должен предупредить вас: я терпеть не могу оставаться в долгу, да и делать долги не люблю, и что бы вы для меня ни сделали, вы не добьетесь того, что я останусь вам обязан.

Тогда взъерошился и Жюльюс.

– Я не собираюсь вас покупать, господин Луйки, – начал он было, повысив голос насколько мог…

Но тут оба заметили, что могут так далеко зайти, остановились, и после короткой паузы Лафкадио продолжал более ровным тоном:

– Какую же работу собирались вы мне предложить?

Жюльюс уклонился от ответа под тем предлогом, что текст его еще не готов, а впрочем, было бы неплохо, если бы они до тех пор познакомились поближе.

– Признайтесь, милостивый государь, – ответил Лафкадио весело, – что вчера вы решили познакомиться, еще не дождавшись меня, и что ваши глаза почтили своим вниманием некий блокнотик?..

Ошеломленный Жюльюс сказал смущенно:

– Признаюсь, я это сделал… – И, вернув себе достойный вид: – И прошу за это прощения. В другой раз, будь это возможно, я так бы не поступил.

– Другого раза не будет: я сжег блокнот.

Лицо Жюльюса выразило огорчение:

– Это вас так рассердило?

– Если бы я до сих пор сердился, я бы с вами об этом не

заговорил. Простите мне мой тон при начале нашей встречи, – продолжал Лафкадио, твердо решившись идти напролом. – И все же я хотел бы знать, прочли ли вы и отрывок письма, который лежал в блокноте?

Жюльюс не читал отрывка письма, потому что его там не видел, но он воспользовался этим случаем, чтобы заверить в умении хранить тайны. Лафкадио смеялся про себя над ним и над тем, как заставил его притворяться.

– А я вчера малость отыгрался на вашей последней книжке.

– Она не затем писалась, чтобы заинтересовать вас, – поспешно ответил Жюльюс.

– О, до конца я ее не прочел. Должен вам признаться, я не большой охотник до чтения. За всю жизнь мне понравился только «Робинзон»… ах да, еще «Аладдин». Вот я и уронил себя в ваших глазах.

Жюльюс медленно поднял руку вверх:

– Мне вас просто жалко: вы лишаете себя великих радостей.

– У меня есть другие.

– Должно быть, не столь доброкачественные.

– Уж это будьте благонадежны! – Лафкадио рассмеялся с позволительной степенью бесцеремонности.

– И когда-нибудь вы об этом пожалеете, – сказал Жюльюс, несколько задетый его зубоскальством.

– Когда будет уже поздно… – нравоучительно подхватил

Лафкадио и вдруг переменил тон: – А вам забавно сочинять?

Жюльюс выпрямился в кресле.

– Я сочиняю не для забавы, – благородно произнес он. – Когда я пишу, то обретаю радости более высокие, чем дает сама жизнь. Впрочем, одно другому не мешает.

– Само собой… – И вдруг, опять возвышая словно по небрежности уроненный тон разговора: – А знаете ли вы, что портит мне почерк? Помарки, поправки, зачеркивания в тексте…

– А вы думаете, в жизни мы ничего не исправляем? – зажегся Жюльюс.

– Вы не так меня поняли. В жизни, говорят, можно исправить себя, можно стать лучше, но нельзя поправить того, что уже сделал. Вот из-за этого права на поправку писательство и получается делом таким нетрезвым, таким… – Он не договорил. – Да-да, вот это мне и кажется прекрасным в жизни: писать приходится по сырой штукатурке. Никаких исправлений быть не может.

– А в вашей жизни многое следовало бы поправить?

– Да нет… пока не очень… А раз все равно нельзя… – Лафкадио помолчал немного, потом сказал: – А ведь как раз из желания что-то исправить я швырнул свой блокнот в огонь! Как видите, слишком поздно. Но признайтесь – вы же там ничего не поняли.

Нет, в этом Жюльюс признаться никак не мог.

– Вы позволите задать вам несколько вопросов? – сказал

он вместо ответа.

Лафкадио вскочил так стремительно, что Жюльюс подумал – он хочет убежать, но юноша просто подошел к окну и приподнял кисейную занавеску:

– Это ваш сад?

– Нет, – ответил Жюльюс.

– Милостивый государь, – продолжал Лафкадио не оборачиваясь, – до сих пор я никому на свете не позволял разглядывать никаких подробностей своей жизни. – Он подошел к Жюльюсу, который теперь опять видел в нем просто мальчишку. – Но сегодня у меня праздник; я хочу единственный раз в жизни дать себе отдых. Задавайте свои вопросы, я обязываюсь ответить на все. Да, прежде всего надо вам сказать: я выставил за дверь ту девицу, которая вам вчера открыла.

Из приличия Жюльюс изобразил удрученный вид:

– Из-за меня? Поверьте…

– Да что там, я давно уже думал, как от нее отделаться.

– Вы с ней… жили? – неуклюже спросил Жюльюс.

– Да, гигиены ради… Впрочем, как можно реже и притом в память об одном друге, который был ее любовником.

– Не о господине ли Протосе? – сказал Жюльюс наугад. Он решил подавить в себе всякое возмущение, брезгливость, осуждение и в этот первый день показывать лишь столько удивления, чтобы своими репликами разговорить юношу.

– Да, Протоса! – весело засмеялся Лафкадио. – А хотите знать, кто такой Протос?

– Узнав нечто о ваших друзьях, я, быть может, и о вас что-нибудь смогу узнать.

– Он итальянец, зовут его… честное слово, не помню, да и какая разница! Все товарищи, даже учителя звали его только этим прозвищем – с того дня, когда он вдруг получил первое место за греческое сочинение.

– А я вот и не припомню, бывал ли сам когда-нибудь первым, – сказал Жюльюс, чтобы разговор пошел доверительней, – но водиться с первыми учениками тоже любил. Так, значит, Протос…

– Да ведь дело все в том, что это было на пари. Прежде он в нашем классе всегда был один из последних, хоть и один из самых старших – а я из младших, но, право слово, лучше от этого тоже не учился. Все, что нам преподавали учителя, Протос совершенно презирал, но раз один зубрила, которого он терпеть не мог, ему сказал: легко, дескать, презирать то, к чему не способен, или что-то в этом роде. Тогда Протос завелся, две недели подряд грыз гранит и дошел до того, что на ближайшем сочинении сразу обошел того – а он всегда был первым, – к нашему общему изумлению! Верней сказать – к их общему изумлению. Я-то всегда очень высоко ценил Протоса, так что меня это не сильно удивило. Он мне сказал: «Я им покажу, что не так уж это трудно!» Я ему сразу поверил.

– Если я вас правильно понял, этот Протос оказал на вас большое влияние.

– Может быть. Он мне внушал уважение. По правде ска-

зать, я только раз поговорил с ним по душам, но этот разговор меня так убедил, что на другой день я удрал из пансиона, где чах, словно салат под тентом, и пошел пешком в Баден – там тогда жила матушка с дядюшкой, маркизом де Жевром… Но мы начали с конца. Я так и думал, что вы очень плохо поведете допрос. Дайте-ка я просто расскажу вам про свою жизнь. Вы узнаете гораздо больше, чем могли бы у меня выспросить, – может, даже больше, чем желали бы знать… Нет, спасибо, я лучше свои, – сказал он, доставая свой портсигар и бросая сигарету, поданную было Жюльюсом, которая за разговором уже потухла.

VII

– Родился я в Бухаресте, в 1874 году, – начал он с расстановкой, – и, как вы, полагаю, знаете, через несколько месяцев после рождения потерял отца. Первый человек, которого я запомнил рядом с матушкой, был немец, мой дядюшка барон Хельденбрук. Но его я потерял, когда мне было двенадцать лет, поэтому сохранил о нем довольно смутное воспоминание. Кажется, он был выдающийся финансист. Он учил меня своему родному языку и арифметике такими хитроумными способами, что мне это сразу же стало очень забавно. Он сделал меня, как сам в шутку говорил, своим кассиром, то есть поручал мне свои мелкие деньги, и куда бы я с ним ни отправлялся, расплачивался всегда я. Что бы он ни поку-

пал (а покупал он много), к моменту, когда надо достать из кармана монету или бумажку, я уже должен был подсчитать итог. Иногда он меня озадачивал иностранными деньгами – возникали вопросы обменного курса, потом дисконта, процента и, наконец, даже игры на бирже. За таким занятием я вскоре научился довольно ловко умножать и даже делить многозначные цифры без бумажки… Не беспокойтесь (он увидел, как Жюльюс нахмурил брови): это не привило мне любви ни к деньгам, ни к расчетам. И, если вам это любопытно знать, я никогда не веду счетов. По правде говоря, это начальное образование так и осталось чисто практическим, позитивным, не затронуло во мне никаких пружин… Хельденбрук прекрасно разбирался в гигиене ребенка; он убедил матушку пускать меня гулять без шапки и босиком в любую погоду, как можно больше времени проводить на свежем воздухе; он сам меня купал зимой и летом в ледяной воде – мне это страшно нравилось… Но вам ни к чему все эти подробности.

– Нет-нет, напротив!

– Потом дела позвали его в Америку, и больше я его не видал.

В Бухаресте салон моей матушки был открыт для самой блестящей и, насколько я могу судить по воспоминаниям, донельзя пестрой публики, но запросто у нас чаще всего бывали мой дядюшка князь Владимир Белковский и Арденго Бальди, которого я дядюшкой почему-то не звал. Интересы

России (чуть было не сказал Польши) и Италии привели их в Бухарест года на три-четыре. Оба научили меня своим языкам, то есть итальянскому и польскому; по-русски я без большого труда читаю и понимаю, но сам не говорил никогда или всего пару раз. В обществе, которое принимала матушка, меня очень баловали, так что у меня каждый день без исключения был случай поупражняться на четырех-пяти языках, и к тринадцати годам я разговаривал без всякого акцента на всех без различия, но предпочитал все же французский: это был язык моего отца, и матушка постаралась научить меня ему прежде всего.

Белковский много мной занимался, как и все, кто хотел понравиться матушке: создавалось впечатление, что это за мной они ухаживают, – но он-то, я думаю, делал это без расчета: он всегда уступал своим наклонностям, а они у него возникали быстро и вели в самые разные стороны. Он занимался мной даже тогда, когда матушка об этом не знала, и мне всегда были лестны знаки особенного внимания с его стороны. Потихоньку-полегоньку этот странный человек превратил нашу довольно устоявшуюся жизнь в непрестанный безумный праздник. Нет, не довольно сказать, что он уступал своим наклонностям: он устремлялся, бросался на эти наклонные плоскости, он делал свои удовольствия чем-то исступленным.

Три года подряд он возил нас летом на виллу или, лучше сказать, в замок на венгерском склоне Карпат, около Эперье-

ша. Часто мы ездили туда в экипаже, но еще чаще садились в седло, и ничто не веселило матушку больше, чем скакать наугад по окрестным лесам и полям, а они там очень красивы. Год с лишним я больше всего на свете любил пони, которого мне подарил Владимир.

На второе лето с нами поехал и Арденго Бальди; тогда он и научил меня играть в шахматы. Хельденбрук уже приучил меня к сложным расчетам в уме, и вскоре я мог играть, не глядя на доску.

Бальди с Белковским ладили хорошо. Вечерами в уединенной башне, окруженные тишиной парка и окрестных лесов, мы все вчетвером долго засиживались за картами: хотя я был еще маленький, мне было тринадцать лет, Бальди выучил меня играть в вист, потому что терпеть не мог играть с болваном, а еще и жульничать в картах.

Фокусник, жонглер, акробат – в первое время, когда он явился у нас, мое мальчишеское воображение только-только отходило от долгого поста, который держало при Хельденбруке; я жаждал чудес, был легковерен, зелен и любопытен. Позже Бальди научил меня своим трюкам, но знание их секрета не изгладило первого впечатления тайны от того, как в первый же вечер он преспокойно прикурил от ногтя, как потом, проигрывая, доставал у меня из ушей и из носа столько рублей, сколько ему было нужно; меня это повергало буквально в священный ужас, а всех собравшихся очень веселило, потому что он всякий раз хладнокровно приговаривал:

«К счастью, этот малыш – рудник неисчерпаемый».

Если вечером мы с ним и с матушкой оставались втроем, он всегда придумывал какую-нибудь новую забаву, какой-нибудь сюрприз или розыгрыш; он передразнивал всех наших знакомых, корчил такие рожи, что становился вовсе не похож на себя, подражал любым голосам, крикам животных, звукам инструментов, извлекал из себя звуки и вовсе неслыханные, пел, аккомпанируя себе на гузле, плясал, кувыркался, ходил на руках, перепрыгивал через столы и стулья; снимал ботинки и жонглировал ногами на японский манер: вертел на большом пальце ширму или журнальный столик из гостиной; руками он жонглировал еще лучше; скомканная и разорванная бумага вдруг взлетала множеством белых бабочек; я дул на них и разгонял, а он удерживал в воздухе, махая веером. Так все предметы рядом с ним теряли тяжесть реальности, теряли даже существование – или обретали новый смысл, неожиданный, причудливый, вовсе не имеющий отношения к пользе. «Мало есть вещей, которыми не забавно жонглировать», – говорил он. Притом он был такой шутник, что я задыхался от смеха, а матушка восклицала: «Прекратите, Бальди! Кадио не сможет уснуть». Но на самом деле у меня были достаточно крепкие нервы, чтобы выдержать такое возбуждение.

Мне его уроки сильно пригодились; пару месяцев спустя в некоторых проделках я самому Бальди дал бы фору, и даже…

– Я вижу, молодой человек, о вашем воспитании чрезвычайно много заботились, – перебил его Жюльюс.

Лафкадио расхохотался: его очень веселила удрученная физиономия романиста.

– О, это все далеко не зашло, не тревожьтесь! А теперь, не правда ли, пора уже явиться дядюшке Фаби. Он очутился рядом с матушкой, когда Белковского и Бальди перевели на другие места службы.

– Фаби? Это его почерк я видел на первой странице вашего блокнота?

– Да, Фабиан Тэйлор, лорд Гравенсдейл. Он повез нас с матушкой на виллу, которую снял около Дуино на Адриатике; там я сильно окреп. Берег в этом месте выдается большим скалистым полуостровом, который почти весь был занят нашей усадьбой. Там я проводил целые дни дикарем под соснами, среди скал, укрываясь в бухтах, плавая в море, ходя на веслах. К этому времени относится фото, которое вы видали; я его тоже сжег.

– Мне кажется, – сказал Жюльюс, – по этому случаю вы могли бы одеться и попристойнее.

– Да вот как раз и не мог бы, – со смехом возразил Лафкадио. – Фаби запирал на замок все мое платье и даже нижнее белье – чтобы я загорел, говорил он.

– А матушка ваша как к этому относилась?

– Очень забавлялась; если гостям, говорила она, это неприятно, они могут просто уехать. Но никому из тех, кого

мы принимали, это оставаться не мешало.

– И все это время ваше образование… о, бедный мальчик!

– Да; я так легко всему обучался, что про образование матушка до той поры забывала; мне уже было почти шестнадцать; матушка словно вдруг это сообразила, и после чудного путешествия по Алжиру вместе с дядюшкой Фаби (думаю, то было лучшее время моей жизни) меня послали в Париж на попечение какого-то неумолимого тюремщика, который занялся моим ученьем.

– Да-да, конечно, я понимаю: после этой чрезмерной свободы принуждение показалось вам довольно суровым.

– Не будь Протоса, я бы его ни за что не перенес. Он жил в одном пансионе со мной – якобы для изучения французского, но он и так на нем отлично говорил, и я так и не понял, что он там делал – так же как и я сам. Я умирал от скуки; не то чтобы у меня были к Протосу дружеские чувства, но я тянулся к нему, как будто бы он должен был принести мне избавление. Он был несколько старше меня, а казался уже совсем взрослым: ничего детского не оставалось в его поступках и вкусах. Когда он хотел, лицо его было чрезвычайно выразительно, могло передать все, что угодно; когда он давал себе отдых – становился похож на дебила. Однажды я пошутил на этот счет, и он мне ответил: в нашем мире надо быть не слишком похожим на то, что ты есть на самом деле.

Ему не довольно было казаться просто не слишком далеким: он очень старался прослыть за полного дурака. Он лю-

бил говорить: людей губит, когда они предпочитают упражнению показуху и не умеют скрывать свои дарования, – но это он говорил только мне одному. Жил он, сторонясь других – даже меня, единственного в пансионе, кого он не презирал. Когда мне удавалось его разговорить, он становился на редкость красноречив, но чаще молчал, и тогда казалось, что он обдумывает какие-то дурные замыслы, которые мне хотелось узнать. Когда я спрашивал его: «Что вы здесь делаете?» (на ты с ним никто из нас не был), – он отвечал: «Беру разбег». Он уверял, что в жизни можно выбраться из самых тяжелых положений, вовремя сказав себе: «Это все пустяки!» Так я себе и сказал, решив убежать.

Я ушел с восемнадцатью франками в кармане и дошел до Бадена короткими переходами: невесть что ел, где ни попадя ночевал… На место явился немного потрепанный, но, в общем, довольный собой: у меня оставалось еще три франка; правда, франков пять или шесть еще прибавилось по дороге. В Бадене я нашел матушку вместе с дядюшкой де Жевром, которого мой побег очень позабавил; он решил поехать со мной обратно в Париж, говоря, что ни за что не утешится, если Париж оставит у меня дурное воспоминание. И правда, когда я приехал туда вместе с ним, Париж предстал мне уже в несколько лучшем свете.

Маркиз де Жевр до страсти любил тратить деньги: это было у него постоянной потребностью, родом обжорства; он словно знал, что мне будет приятно помогать ему и под-

креплять его аппетиты собственными. В противоположность Фаби, он прививал мне вкус к одежде, и я могу сказать, что недурно ее носил; у маркиза я прошел хорошую школу; его элегантность была совершенно естественна, словно вторая натура. Мы с ним превосходно ладили. Все утро мы проводили вместе у галантерейщиков, обувщиков, портных; особое внимание он обращал на обувь: по ней, говорил он, человека узнаешь вернее и неприметнее для него, чем по всей остальной одежде или чертам лица… Он учил меня тратить, не считая денег и не заботясь заранее, хватит ли мне средств на утоление моих фантазий, желаний и голода. Он принципиально считал, что голод надо утолять в последнюю очередь, потому что (я помню точно его слова) желания с фантазиями появятся и убегут, а голод всегда о себе напомнит, да тем настоятельней, чем дольше будет ждать. Наконец, он научил меня не радоваться вещи больше, оттого что она дорога, или меньше, оттого что она, по случаю, вовсе ничего не стоила.

Так я жил, когда лишился матушки. Телеграмма вдруг вызвала меня в Бухарест; я увидел ее уже в гробу; там я узнал, что после отъезда маркиза она наделала много долгов, так что ее состояния как раз хватило на их уплату, а я не мог уже рассчитывать ни на копейку, ни на пфенниг, ни на грош. Сразу после похорон я вернулся в Париж, где думал найти дядюшку де Жевра, но он внезапно уехал в Россию, не оставив адреса.

Мне ни к чему передавать вам все, о чем я думал тогда. Я, черт побери, имел в запасе кое-какие умения, благодаря которым всегда мог перебиться, но чем больше у меня было в них нужды, тем отвратительнее мне казалось прибегать к ним. К счастью, однажды вечером, бродя по улицам в некоторой растерянности, я встретил Каролу Негрешитти, которую вы видели, – бывшую любовницу Протоса; она меня пристойно приютила. Несколько дней спустя мне сообщили, что по первым числам каждого месяца я могу получать у одного нотариуса маленький пенсион довольно загадочного происхождения; я терпеть не могу наводить лишние справки, и стал его забирать, ни о чем не спрашивая. Потом пришли вы… Теперь вы знаете, в общем, все, что я хотел бы вам рассказать.

– Какое счастье, – важно произнес Жюльюс, – какое счастье, Лафкадио, что вам теперь перепали какие-то деньги; без профессии, без образования, вынуждены жить случайными заработками… такой, каким я вас теперь узнал, вы были бы готовы на все.

– Да ни на что я не был бы готов, – ответил Лафкадио, строго глядя на Жюльюса. – Сколько я вам тут рассказал, а вы меня еще очень плохо знаете. Ничто не останавливает меня так, как нужда, и я всегда искал только того, что на пользу мне не пойдет.

– Например, парадоксов. Думаете, можно ими прокормиться?

– От желудка зависит. Вам угодно называть парадоксами то, что в ваш желудок не лезет. Ну а я скорей бы умер с голоду, чем питался бы тем рагу из логики, каким, как я видел, вы кормите своих героев.

– Позвольте…

– По крайней мере героя вашей последней книги. Вы там изобразили своего отца, правда? И так стараетесь всегда, везде выдержать его последовательным, похожим на себя и на вас, верным своему долгу и своим принципам, то есть вашим теориям… что же я, как вы думаете, могу про это сказать? Смиритесь с правдой, господин де Барайуль: я существо без причин и следствий. Вон я вам сколько наговорил! А еще вчера сам себя считал самым молчаливым, самым замкнутым, самым уединенным из людей. Но это хорошо, что мы так скоро узнали друг друга и впредь к этому не придется возвращаться. Завтра, сегодня же вечером, я вернусь в свой затвор.

Романист, ошеломленный было этими речами, сделал усилие и удержался в седле:

– Будьте прежде всего уверены, что без причин и следствий ничего не бывает ни в физике, ни в психологии, – начал он. – Вы еще не завершили свое развитие…

Его перебил стук в дверь. Но никто не вошел; Жюльюсу пришлось самому выйти из кабинета. Дверь он оставил открытой; до Лафкадио доносились невнятные голоса. Потом настала полная тишина. Лафкадио прождал минут десять и

уже собирался уйти, но тут к нему подошел слуга в ливрее:

– Господин граф просил передать господину секретарю, что он его больше не задерживает. Господин граф только что получил дурные вести о своем сиятельнейшем отце и просит извинить его, сударь, что не может попрощаться с вами лично.

По тому, как это было сказано, Лафкадио догадался, что пришла весть о смерти старого графа. Он совладал со своими чувствами.

– Ну что ж, – думал он, вернувшись в тупик Клода Бернара, – время настало. It is time to launch the ship[10]. Откуда бы ветер теперь ни подул, то и ладно. Раз уж рядом со стариком я быть не могу, соберусь-ка я, чтобы отправиться от него еще дальше.

Проходя мимо привратницкой, он передал портье коробочку, которую носил с собой со вчерашнего дня:

– Вечером передайте, пожалуйста, этот пакет госпоже Негрешитти, когда она вернется. И, будьте добры, приготовьте мой счет.

Через час он упаковал чемодан и послал за фиакром. Он уехал, не оставив адреса. Только адрес своего нотариуса.

---

[10] Пора спускать корабль на воду *(англ.)*.

Книга третья
АМЕДЕЙ ЛИЛИССУАР

I

Вскоре после того как графиня Ги де Сен-При, младшая сестра Жюльюса, внезапно вызванная в Париж кончиной графа Жюста-Аженора, вернулась в свой изящный замок Пезак в четырех километрах от По, из которого почти не выезжала с тех пор, как овдовела, а особенно как поженились и встали на ноги ее дети, к ней явились с необыкновенным визитом.

Утром она, как всегда, вернулась с прогулки в легком догкаре, которым правила сама, и тут ей доложили, что в гостиной уже около часа дожидается какой-то капуцин. Незнакомец сказал, что он от кардинала Андре, как удостоверяла и визитная карточка кардинала, которую передали графине. Карточка была в конверте; под фамилией кардинала его тонким, почти женским почерком было написано:

«Рекомендую особенному вниманию графини де Сен-При аббата Жана-Поля Спаса, каноника в Вирмонтале».

Вот и все – этого было довольно; графиня всегда с удо-

вольствием принимала духовных лиц, а кардинал Андре имел над ее душой огромную власть. Одним прыжком она оказалась в гостиной и извинилась, что заставила себя ждать.

Каноник из Вирмонталя был хорош собой; его лицо сияло мужественной энергией, которая странно рассогласовывалась (позволю себе так выразиться) с нерешительной осторожностью его жестов и голоса; удивляли, кроме того, почти седые волосы при молодом и свежем цвете лица.

Несмотря на всю благорасположенность графини, разговор клеился плохо, увязая в условных светских фразах об утрате, недавно постигшей ее, о здоровье кардинала Андре, об очередном провале Жюльюса в академию… Между тем голос аббата становился все медленней и глуше, а лицо все недовольнее. Наконец он встал, но не для прощания:

– Я хотел бы, графиня, от лица кардинала поговорить с вами о важном деле. Но в этой комнате слишком хорошая слышимость, да и множество дверей меня пугает: боюсь, нас тут могут подслушать.

Графиня обожала ужимки и секреты; она ввела каноника в тесный будуар, имевший выход только в гостиную, закрыла дверь:

– Здесь мы в укромном месте. Говорите без всякого страха.

Но аббат, усевшись на пуфе напротив графини, говорить не стал: он вынул из кармана платок, уткнулся в него лицом и зашелся в судорожных рыданиях.

Графиня в растерянности схватила с рядом стоявшего столика рабочую корзинку, нашла там флакон нюхательной соли, задумалась, можно ли предложить ее гостю, и, наконец, решилась понюхать сама.

– Простите меня, – сказал наконец аббат, отняв платок от побагровевшего лица. – Мне известно, графиня, какая вы превосходная католичка, так что вы непременно тотчас же меня поймете и разделите мои чувства.

Душевных излияний графиня Валентина терпеть не могла; благопристойность выражения лица она сберегла за лорнетом. Аббат тут же пришел в себя и подвинул пуф немного ближе:

– Ваше сиятельство, чтобы решиться с вами говорить, мне понадобилось официальное заверение кардинала: да, заверение, данное им, что ваша вера не чета пустой светской вере – простой оболочке неверия…

– Ближе к делу, господин аббат.

– Поэтому кардинал заверил меня, что я могу всецело положиться на ваше умение хранить тайну – подобное, смею выразиться, умению хранить тайну исповеди…

– Но простите меня, господин аббат: если речь идет о каком-то секрете, известном кардиналу – секрете такой важности, – как же он не сообщил мне о нем прямо?

По улыбке аббата графиня сразу догадалась, как неуместен был ее вопрос:

– Письмо? Но, графиня, в наши дни на почте все карди-

нальские письма вскрываются.

– Он мог бы доверить это письмо вам.

– Верно, графиня, но кто знает, что может случиться с бумагой? Мы под таким надзором… Более того: кардинал предпочитает и сам не знать того, что я вам сейчас сообщу, – быть в этом деле совершенно не замешанным. Ах, графиня, в последний момент смелость и меня покидает. Я не знаю, могу ли…

– Господин аббат, вы меня совсем не знаете, – очень тихо сказала графиня, отворачивая голову и роняя лорнет, – так что во мне не может быть обиды, если ваше доверие ко мне недостаточно велико. Тайны, которые мне доверяют, я храню свято. Бог свидетель, выдавала ли я когда хоть малейший секрет. Но мне еще ни разу не случалось упрашивать поведать мне тайну…

Графиня слегка привстала, словно собравшись уходить. Аббат протянул к ней руки:

– Простите меня, ваше сиятельство! Извольте принять во внимание, что вы первая женщина – первая, говорю вам, – которую давшие мне страшное поручение уведомить вас сочли достойной принять и сохранить в себе этот секрет. И я, признаюсь, со страхом думаю: такое откровение очень тяжко, очень обременительно для женского ума.

– Насчет недостаточных способностей женского ума сильно заблуждаются, – ответила графиня почти неприязненно и, слегка разведя руками, спрятала свое любопытство под от-

страненным видом, с каким считала приличным выслушивать важные сообщения, поверяемые Церковью.

Аббат еще немного ближе пододвинул пуф.

Но тайна, которую аббат Спас собирался теперь поведать графине, мне и поныне кажется такой ошеломительной и странной, что я не смею рассказать о ней здесь без пространных оговорок.

Есть роман, а есть история. Самые сведущие критики видели в романе историю, которая могла быть в возможности, а в истории – роман, который был в действительности. И в самом деле надо признать, что воображение романиста часто внушает доверие, а действительные события нашу доверчивость испытывают. К сожалению, иные скептики отрицают факты, если они выходят за рамки заурядности. Не для них я пишу.

Мог ли наместник Бога на земле быть похищен со своего Святого престола и происками Квиринала, так сказать, украден у всего христианского мира – это очень щекотливая проблема, и поднимать ее у меня не станет отваги. Но то, что в конце 1893 года прошел такой слух, – это факт *исторический,* и достоверно, что еще много лет он смущал многие преданные Церкви души. Несколько газет робко заговорили об этом – их заставили замолчать. В Сен-Мало вышла посвященная этому брошюра[11] – ее изъяли из продажи. Де-

---

[11] Compte rendu de la Delivrance de Sa Saintete Leon XIII emprisonne dans les

ло в том, что не только масонская партия не была заинтересована поднимать шум по поводу столь гнусного преступления, но и католическая партия не смела принять чрезвычайные сборы, тотчас поступившие по этому поводу, и не соглашалась их возместить. И хотя, несомненно, многие боголюбцы принесли великие жертвы (собранные или растраченные по сему случаю суммы оценивают в полмиллиона), так и осталось под сомнением, все ли получившие эти средства истинно служили Церкви: не был ли из них кое-кто, например, мошенником. Так или иначе, чтобы сладить подобное дело, требовались не твердые религиозные убеждения, а дерзость, ловкость, такт, красноречие, понимание людей и событий, здоровье, похвастать которыми могли только молодцы вроде Протоса – прежнего товарища Лафкадио. Я честно извещаю читателя: он-то сейчас и является перед нами под личиной каноника из Вирмонталя.

Валентина де Сен-При, твердо решив не разжимать больше губ, не менять позы и даже выражения лица, пока не исчерпается весь секрет, бесстрастно слушала мнимого патера, а тот чувствовал себя чем дальше, тем уверенней. Он встал и большими шагами принялся расхаживать по будуару. Для введения в дело он начал его излагать если не с самого начала (ведь главное – распря Церкви с Ложей – существовало все-

---

cahots du Vatican (Saint-Malo, imprimerie Y. Billois, rue de l'Orme, 4), 1893 <Отчет об освобождении его святейшества Льва XIII из заключения в казематах Ватикана. Сен-Мало, типография И. Биллуа, улица Вязов, 4. 1893>. – *Примеч. авт.*

гда, не правда ли?), то с некоторых давних событий, в связи с которыми начались открытые столкновения. Прежде всего он напомнил графине о двух посланиях, изданных папой в декабре 1892 года: одно к итальянскому народу, другое – специально к епископату, предостерегавших против масонских происков; потом, поскольку графине память несколько изменяла, ему пришлось углубиться еще дальше и рассказать об открытии памятника Джордано Бруно по решению и под руководством Криспи, за которым до сей поры скрывалась Ложа. Криспи, говорил он, оскорбился тем, что папа отклонил его предложения, отказался вести с ним переговоры (а под переговорами они понимали соглашение, подчинение!). Он живо обрисовал ей тот трагический день: оба лагеря изготовились к бою; масоны сняли наконец маску, и в то время как дипломатический корпус, аккредитованный при Святом престоле, направился в Ватикан, изъявляя презрение к Криспи и почтение к уязвленному Святейшему Отцу, на Кампо деи Фьори весь орден, развернув стяги, воздвигал свой наглый кумир во славу знаменитого богохульника.

– На состоявшейся вскоре консистории 30 июня 1889 года, – продолжал он все так же стоя, опираясь обеими руками на столик и свесившись над графиней, – Лев XIII выразил свое глубочайшее негодование. Его протест был услышан всем миром, и все христианство содрогнулось, когда он сказал, что готов оставить Рим. Оставить Рим, слышите ли! Все это, графиня, вы уже знаете; вы это перестрадали и

помните не хуже моего.

Он снова зашагал по комнате:

– Наконец Криспи лишился власти. Неужели Церковь сможет вздохнуть свободно? Итак, в декабре 1892 года папа издал те два послания. Графиня…

Он снова сел, резко придвинул кресло к канапе и схватил ее за руку:

– Месяц спустя папа был заточен в темницу.

Графиня упорно оставалась безмолвна. Каноник отпустил ее руку и произнес более уравновешенно:

– Ваше сиятельство, я не желал бы стараться разжалобить вас страданьями узника: женское сердце всегда нетрудно встревожить зрелищем несчастья. Я обращаюсь к вашему уму, графиня, и предлагаю вам посмотреть, в какой глубокий хаос погрузились мы, христиане, после исчезновения нашего духовного отца.

На бледном челе графини обозначилась маленькая морщинка.

– Быть без папы ужасно, сударыня. Но это все пустяки: еще ужаснее быть с ложным папой. Ведь чтобы скрыть свое преступление – да что там! – чтобы Церковь сама разоружилась и покорилась Ложе, франкмасоны посадили на папский престол вместо Льва XIII какого-то клеврета Квиринала, какого-то манекена, схожего обликом с их святейшей жертвой, какого-то обманщика, которому мы вынуждены притворно покоряться, чтобы не повредить истинному понтифику, и

которому наконец (о стыд!) на юбилее поклонился весь христианский мир.

При этих словах платок, который аббат крутил в руках, разорвался.

– Первым актом лжепапы была пресловутая энциклика к Франции, от которой до сих пор истекает кровью сердце всякого истинного француза. Да, да, ваше сиятельство, я знаю, как ваше великое вельможное сердце страдало, услышав, что Святая Церковь отказалась от святого дела монархии; Ватикан, иными словами, приветствовал республику. Увы! Утешьтесь, сударыня. Вы справедливо изумились этому. Утешьтесь теперь, графиня, – но подумайте, как страдал в плену Святейший Отец, слыша, как некий обманщик объявил его республиканцем!

Он запрокинулся назад и с рыдающим смехом сказал:

– А что подумали вы, графиня де Сен-При, что подумали, когда в качестве комментария к этой энциклике его святейшество дал аудиенцию редактору «Пти журналь»? «Пти журналь», графиня! Фу, гадость! Лев XIII в этой газетенке! Вы же сами чувствуете, что этого не может быть. Ваше благородное сердце уже возопило, что это фальшивка!

– Но, – воскликнула наконец, не сдержавшись, графиня, – об этом же надо возопить по всей земле!

– Нет, сударыня, об этом надо молчать! – грозно прогремел аббат. – Именно об этом и надо молчать: молчать об этом – и делать дело.

Он извинился и продолжил с внезапною слезою в голосе:

– Видите ли вы, что я с вами разговариваю, как с мужчиной?

– Вы правы, господин аббат. Делать дело, сказали вы? Так говорите скорее, что вы решили.

– О, я знал, что встречу в вас благородное мужественное нетерпение, достойное крови Барайулей. Но увы! В нашем случае ничто не может быть страшней несвоевременного усердия. Сегодня об этом гнусном злодействе, графиня, уведомлены немногие избранные, и нам непременно нужно рассчитывать на их совершенное молчание, на их полнейшее повиновение указаниям, которые будут им даны в благоприятное время. Кто действует не с нами, тот действует против нас. И помимо церковного осуждения… это все пустяки! – помимо возможного отлучения от Церкви, всякая частная инициатива встретит категорический прямой запрет нашей партии. Здесь, ваше сиятельство, речь идет о крестовом походе: именно крестовом походе, но тайном. Простите, что я так упорно на этом настаиваю, но мне нарочно поручено кардиналом предупредить вас об этом; сам же кардинал об этой истории ничего не хочет знать и даже не поймет, о чем его спрашивают, если заговорить с ним об этом. Кардинал не желает признать, что видел меня, и если даже впоследствии ход событий вновь сведет нас – условимся, что мы с вами никогда не разговаривали друг с другом. Вскоре Святейший Отец сможет вознаградить тех, кто верно ему служил.

Несколько разочарованная, графиня несмело выдвинула свой аргумент:

– А как же тогда?

– Мы делаем дело, ваше сиятельство, – не тревожьтесь, мы делаем. И отчасти мне даже дозволено открыть вам план кампании.

Он глубоко уселся в кресло прямо против графини, она же подняла руки к лицу и так застыла: грудь вперед, локтями опершись на колени, лицо обхватив ладонями.

Вначале аббат рассказал, что папа заточен не в Ватикане, а, вероятно, в замке Святого Ангела, который, как графиня, конечно, знает, соединен с Ватиканом подземным ходом; что, конечно, было бы совсем не трудно вытащить его из этой темницы, если бы не суеверный страх его слуг перед масонством, хотя сами они всем сердцем с Церковью. Ложа на то и рассчитывала: пример понтифика, лишенного власти, должен наполнить ужасом все души. Никто из слуг не соглашался содействовать без твердого обещания отправить его куда-нибудь далеко, в недосягаемое для гонителей место. Значительные суммы были выделены на этот предмет людьми весьма благочестивыми, чья верность в тайне испытана. Теперь оставалось устранить лишь одно препятствие, но оно требовало больше усилий, чем все остальные, вместе взятые. Ибо это препятствие – некий принц, главный тюремщик Льва XIII.

– Помните ли вы, графиня, какой тайной до сих пор окутана двойная смерть эрцгерцога Рудольфа, наследника престола Австро-Венгрии, и его юной супруги, которую нашли рядом с ним при последнем издыхании, – Марии Вечеры, племянницы княгини Грациоли? Они только что сыграли свадьбу. Самоубийство, говорят нам! Пистолет там был только ради обмана общественного мнения: правда в том, что оба были отравлены. Увы! Кузен эрцгерцога, и сам великий герцог, безумно влюбленный в Марию, не вынес, увидев ее за другим… После этого ужасного злодеяния Иоанн-Сальвадор Лотарингский, сын великой герцогини Тосканской Марии-Антуанетты, оставил двор императора Франца Иосифа, своего родственника. Зная, что в Вене его преступление раскрыто, он отправился выдать самого себя папе – умолять его о прощении, разжалобить его. Прощение он получил. Но под предлогом епитимии кардинал Монако-Ла-Валетт заточил его в замке Святого Ангела, где он и томится уже три года.

Все это каноник рассказал довольно ровным голосом; потом немножко выждал, притопнул ногой и добавил:

– Его-то Монако и сделал главным тюремщиком Льва XIII.

– Как! – воскликнула графиня. – Кардинал! Разве может кардинал быть франкмасоном?

– Увы! – сказал задумчиво каноник. – Ложа глубоко поразила Церковь. Вы можете понять, ваше сиятельство, что если бы Церковь была способна сама защищаться лучше, ничего

бы и не случилось. Ложа могла захватить особу Святейшего Отца лишь при содействии некоторых весьма высокопоставленных своих собратьев.

– Но это ужасно!

– Что вам еще сказать, графиня? Иоанн-Сальвадор считает себя пленником Церкви, хотя в плену его держат франкмасоны. Он ничего не согласен сделать для освобождения Святейшего Отца, если ему самому не помогут бежать вместе с ним, а бежать ему надо непременно очень далеко: в такую страну, из которой нет выдачи. Он требует двести тысяч франков.

Слушая посетителя, графиня отступала назад, опустив руки и запрокинув голову назад; при последних словах она слабо простонала и потеряла сознание. Каноник бросился к ней:

– Очнитесь, графиня! – Он похлопал ее по рукам. – Это все пустяки! – Он поднес ей к носу флакон с солью. – Сто сорок тысяч из этих двухсот у нас уже есть. – (Графиня приоткрыла глаза.) – Но герцогиня де Лектур соглашается дать лишь пятьдесят тысяч, а нужно шестьдесят.

– Вы их получите, – почти неслышно прошептала Валентина де Сен-При.

– Церковь не сомневалась в вас, ваше сиятельство.

Он встал очень важно, почти церемониально, выдержал паузу и сказал:

– Графиня де Сен-При, я всецело доверяю вашему великодушному обещанию, но примите во внимание беспример-

ные трудности, которые будут сопровождать, осложнять, а может быть, совершенно препятствовать передаче этой суммы: суммы, о которой вы сами, повторяю, должны забыть, получение которой я сам должен быть готов отрицать, и даже расписку в ней мне не дозволено выдать вам… Осторожности ради я могу получить ее лишь из рук в руки – из ваших рук в мои. Мы под надзором. Мой приезд в ваш замок может подать повод для слухов. Всегда ли мы уверены в наших слугах? Подумайте о выборах графа де Барайуля. Мне сюда никак не следует возвращаться.

Сказав эти слова, он остался, как приклеенный к полу, не двигаясь и ничего не говоря. Графиня поняла:

– Но, господин аббат, вы же понимаете, что такой огромной суммы при мне сейчас нет. К тому же…

Аббат нахмурился, так что она не осмелилась сказать, что ей нужно некоторое время, чтобы эти деньги собрать (она ведь намеревалась раскошелиться не одна), а лишь прошептала:

– Как же быть?.. – И, поскольку аббат хмурился все сильнее: – Наверху у меня есть кое-какие вещицы…

– Фу, сударыня, что вы! Вещицы – это всего лишь сувениры. Вы хотите, чтобы я взялся за ремесло перекупщика? И вы думаете, я смогу соблюдать осторожность, стараясь продать их как можно дороже? Будет риск, что я выдам и вас, и все наше дело.

Внезапно из важного голос его стал резким и жестким. У

графини же голос немного дрожал:

– Погодите минутку, господин каноник, я посмотрю, что у меня есть в ящиках…

Вскоре она спустилась. В руке у нее была зажата пачка синих бумажек.

– К счастью, я только что получила арендную плату, так что могу сейчас же дать вам шесть с половиной тысяч франков.

Каноник пожал плечами:

– И что мне, по-вашему, с ними делать?

С грустным презрением, благородным движением руки он отстранил графиню от себя:

– Нет, ваше сиятельство, нет, я не возьму эти купюры. Их я возьму только вместе с другими. Я цельный человек, мне нужно все целиком. Когда вы сможете передать мне всю сумму?

– Сколько времени вы мне дадите? Неделю? – спросила графиня, все еще надеясь собрать деньги у знакомых.

– Графиня де Сен-При, неужели церковь ошиблась? Неделя? Я скажу вам только два слова: папа ожидает! – Он воздел руки к небу. – Что же это! Вы удостоены чрезвычайной чести, в ваших руках его спасение, а вы медлите! Страшитесь, графиня, страшитесь, как бы Господь наш в день вашего спасения не заставил несостоятельную душу вашу так же медлить и томиться у райских врат!

Он стал грозен и страшен, потом вдруг поднес к губам

крестик на четках и забылся в краткой молитве.

– Но мне же нужно время написать в Париж? – в отчаянье простонала графиня.

– Пошлите телеграмму! Пусть ваш банкир перечислит шестьдесят тысяч в парижское отделение «Земельного кредита», а они телеграфом дадут своему отделению в По распоряжение выплатить вам означенную сумму. Пустяковое дело.

– У меня есть деньги на счету в По, – решилась она.

– В банке?

– Как раз в «Земельном кредите».

Тут аббат совершенно возмутился:

– О! Ваше сиятельство, что же вы так долго крутили, пока не сказали это мне? Так-то вы показываете ваше усердие? Что вы скажете, если теперь я вовсе откажусь от вашего содействия?

Он заходил по комнате, заложив руки за спину, словно заранее настроенный против всего, что может услышать:

– Это более, нежели теплохладность, – он пощелкал языком, показывая свое отвращение, – это почти служение двум господам…

– Господин аббат, умоляю вас…

Еще с минуту аббат ходил все так же насупленно и непреклонно. Наконец сказал:

– Вы, я знаю, знакомы с аббатом Буденом; сегодня я с ним как раз обедаю… – он вынул из кармана часы, – и уже опаз-

дываю. Выпишите чек на его имя; он получит за меня эти шестьдесят тысяч и тут же мне передаст. Когда увидите его, скажите просто, что это вклад на поминальную часовню; он человек не болтливый, знает жизнь и допытываться ни до чего не станет. Ну! Чего вы еще ждете?

Графиня, в забытьи лежавшая на канапе, встала, подошла к маленькому секретеру, открыла его, достала оливковый блокнот и продолговатыми буквами исписала одну из его страниц.

– Простите меня, ваше сиятельство, что я сейчас был с вами несколько резок, – сказал аббат, смягчившись, принимая протянутый чек. – Ведь сейчас на карте столько стоит!

Он положил чек во внутренний карман.

– Благодарить вас было бы нечестиво, не правда ли? Даже во имя того, в чьих руках я всего лишь недостойное орудие…

Он всхлипнул, спрятав рыдание в галстуке, но тут же опомнился, топнул ногой и торопливо прошептал что-то не по-французски.

– Вы итальянец? – спросила графиня.

– Испанец. Прямота моих чувств выдает меня.

– Но не акцент. Впрочем, вы очень чисто говорите по-французски.

– Вы мне льстите, графиня. Простите, что покидаю вас так поспешно. Благодаря нашей маленькой комбинации я уже вечером смогу быть в Нарбонне, где меня с нетерпением ожидает архиепископ. Прощайте!

Он взял ее за обе руки и, чуть откинувшись, пристально посмотрел ей в глаза:

– Прощайте, графиня де Сен-При, и помните: одно ваше слово может все погубить.

Не успел он выйти, как графиня бросилась к звонку:

– Амелия, скажите Пьеру, чтобы коляска дожидалась меня готовая, после обеда сразу поедем в город. Да, вот еще! Пусть Жермен садится на велосипед и сейчас же отвезет госпоже Лилиссуар записочку – вот эту…

Стоя у секретера, который так и оставался открытым, она написала:

«Милостивая государыня, я сейчас к вам заеду. Ждите меня часа в два, у меня к вам очень важное дело. Сделайте так, чтобы мы были только вдвоем».

Подписалась, запечатала конверт и отдала его Амелии.

II

Госпожа Лилиссуар, урожденная Пьерди, младшая сестра Вероники Арман-Дюбуа и Маргариты де Барайуль, носила нелепое имя Арника. Ботаник Филибер Пьерди, при Второй империи довольно известный своими злоключениями в браке, смолоду намеревался называть будущих детей цветочны-

ми именами. Имя Вероника, полученное старшей дочерью, кое-кто из знакомых счел не совсем обычным, но когда после Маргариты отец стал слышать, что опошлился, уступил общим вкусам, скатился в заурядность, он возмутился и сразу же решил третье свое произведение наградить именем столь откровенно ботаническим, что все злые языки смолкнут.

Характер у Филибера быстро портился, и вскоре после рождения Арники он расстался с женой, оставил столицу и переехал в По. Супруга его зиму проводила в Париже, но с первыми вешними деньками возвращалась в Тарб – свой родной город, – и селила у себя в старом фамильном доме двух старших дочерей.

Вероника и Маргарита делили год между По и Тарбом. Маленькой же Арникой мать и сестры пренебрегали – и действительно она, по правде сказать, была простовата и не столько хороша собой, сколько трогательна, – так что зимой и летом она оставалась при отце.

Самой большой радостью девочки было собирать вместе с ним гербарий вокруг города, но часто этот маньяк, поддаваясь озлобленному настроению, оставлял ее дома, один отправлялся в нескончаемый поход, возвращался, не чуя ног, и после ужина сразу кидался в кровать, не одарив дочку ни словом, ни улыбкой. В поэтические минуты он играл на флейте, без конца твердя все одни и те же мелодии. Все остальное время скрупулезно вырисовывал портреты разных цветов.

За ребенком смотрела старая служанка по прозвищу Резеда, ведавшая кухней и прочим хозяйством; она потихоньку учила Арнику тому немногому, что знала сама. При таком воспитании девочка к семи годам еле-еле читала. В конце концов уважение к окружающим все же надоумило Филибера отдать Арнику в пансион вдовы Семен, преподававшей начатки знаний дюжине девочек и нескольким очень маленьким мальчикам.

До этого дня Арника Пьерди, беззащитная и беззлобная, даже не подозревала, какая у нее смешная фамилия. Поступив в пансион, она убедилась в этом немедленно; под волной насмешек девочка согнулась, как лента водоросли, покраснела, побледнела, заплакала, а госпожа Семен разом наказала за непристойное поведение весь класс и своим неловким поступком безобидные поначалу шуточки сделала злобными.

Длинная, дряблая, хилая, хмурая стояла Арника посередине маленького класса, а когда госпожа Семен указала: «Садись, Пьерди, за третью парту слева», – все началось пуще прежнего, невзирая на любые учительские кары.

Бедняжка Арника! Жизнь уже простиралась перед нею длинной пустынной дорогой, обсаженной колкостями, с обидами на обочинах. По счастью, госпожа Семен не осталась бесчувственной к ее страданиям, и вскоре малышка обрела убежище у колен вдовицы.

Арника частенько оставалась после уроков в пансионе,

потому что отца можно было дома и не застать. У госпожи Семен была дочь лет на семь старше Арники, немножко горбатая, но симпатичная; в надежде зацепить ей мужа, госпожа Семен воскресными вечерами принимала гостей, а дважды в год даже устраивала маленькие домашние утренники с декламацией и танцульками; туда являлись некоторые бывшие воспитанницы в сопровождении родителей – из благодарности, и некоторые молодые люди без средств и без будущего – от нечего делать. Арника тоже бывала на всех этих сборищах: цветочек невзрачный, скромный до неприметности – и все же ее приметили.

В четырнадцать лет она лишилась отца, и вдова Семен приютила сироту; сестры были гораздо старше ее и навещали только изредка. Но в одну из таких редких встреч Маргарита и увидела в первый раз того, кто два года спустя стал ее мужем: Жюльюс де Барайуль, которому тогда было двадцать восемь лет, приехал в деревню к своему деду Роберу, поселившемуся, как мы уже говорили, в окрестностях По через малое время после присоединения герцогства Пармского к Франции.

Блестящий брак Маргариты (впрочем, девицы Пьерди были не вовсе бесприданницы) сделал сестру еще более недосягаемой в ослепленных глазах Арники; она понимала: никогда, склонившись над ней, не вдохнет ее аромат никакой граф, никакой Жюльюс. Завидно было и то, что сестре удалось распрощаться с обидной фамилией Пьерди. Маргарита

– имя прелестное; как чудно оно звучало вместе с фамилией де Барайуль! И увы – с любой замужней фамилией останется просто смешным имя Арника.

Бунтуя против действительности, ее нерасцветшая истерзанная душа попробовала обратиться к поэзии. В шестнадцать лет она обрамляла свое бледное лицо висячими локонами, которые зовут «покаянными», а ее задумчивые голубые глаза сами дивились соседству с черными волосами. Голос ее был бесцветен, но нисколько не груб; она декламировала стихи и пыталась сама писать их. Поэтичным она считала все, что давало ей бежать от жизни.

Завсегдатаями вечеров госпожи Семен были два юноши, которых с самого детства сблизила друг с другом нежнейшая дружба. Один был не слишком высок, но сутул, не столько худ, сколько сухощав, с волосами не столько светлыми, сколько белесыми, с гордым носом и робким взглядом: то был Амедей Лилиссуар. Другой, коротенький и толстый, с жесткими черными волосами над низким лбом, по странной привычке всегда ходил со склоненной на левое плечо головой, с раскрытым ртом и протянутой вперед правой рукой: вот описание Гастона Блафаффаса. Отец Амедея был мраморщик, делал надгробные памятники и торговал похоронными венками; Гастон был сыном крупного аптекаря.

(Как ни странно может показаться, фамилия Блафаффас очень распространена в деревнях предгорий Пиренеев, причем она еще и пишется по-разному, так что в одном лишь

большом селе, где автору этих строк пришлось принимать экзамены, встретились вывески нотариуса Блаффаффаса, цирюльника Блафафаза и мясника Блаффафасса; на мой вопрос они отказывались признать между собой какое-либо родство, и каждый из них довольно презрительно говорил, что другие варианты его фамилии весьма неизящны по написанию. Но эти филологические заметки могут заинтересовать лишь крайне ограниченный круг читателей.)

Как жили бы Лилиссуар и Блафаффас друг без друга? И представить себе невозможно. На переменах в лицее они всегда держались вместе; над ними непрестанно глумились – они друг друга утешали, поддерживали, помогали терпеть. Их прозвали Блафафуарами. Обоим дружба их казалась ковчегом спасения, оазисом в беспощадной пустыне жизни. Не успевал один вкусить какую-либо радость, как желал уже разделить ее с другом, или, вернее сказать, ничто для них не было радостью, если они ее вкушали без друга.

Учились они неважно, несмотря на усидчивость, не позволявшую придираться, были по природе невосприимчивы к культуре любого рода и всегда оставались бы в классе последними, если бы не помощь Эвдокса Левикуана, который за небольшое вознаграждение исправлял или даже сам делал за них задания. Этот Левикуан был младшим сыном одного из главных ювелиров города. (За двадцать лет до того ювелир Леви женился на единственной дочери ювелира Коэна, а вскоре – когда дела его процвели и он перебрался из ниж-

него города поближе к казино – решил соединить и склеить обе фамилии, как соединил он и обе фирмы.)

Блафаффас был крепкого сложения, Лилиссуар же деликатного. С приближением отрочества облик Гастона посуровел, жизненные соки словно выдавили волос по всему его телу, меж тем как нежная кожа Амедея упрямилась, вздувалась, воспалялась, как будто волосам приходилось пускаться на всякие хитрости, чтоб пробиться. Блафаффас-отец порекомендовал кровоочистительное, и каждый понедельник Гастон приносил и тайком передавал другу бутылочку противоцинготного сиропа. Пользовались они и помадой.

В это же время Амедей в первый раз простудился; простуда, несмотря на мягкий климат По, никак не желала проходить всю зиму и оставила после себя неприятную слабость в области бронхов. Для Гастона это был повод к новым заботам: он пичкал друга лакрицей, повидлом из жожобы, исландским мхом и пастилками от кашля на эвкалиптовой основе, которые старший Блафаффас делал сам по рецепту одного старого кюре. Амедей то и дело подхватывал катар и поневоле теперь никуда не выходил без шарфа.

Амедей не имел никаких целей в жизни: только наследовать отцу. Гастон же, хотя и неповоротливый с виду, оказался не лишен хитроумия; уже в лицее он придумывал всякие штучки, больше, по правде сказать, забавные: мухоловку, весы для шариков, замок с секретом для своей парты, в которой секретов было, впрочем, не больше, чем в сердце

изобретателя. Как бы ни были малополезны первые приложения его предприимчивости, они не могли не привести его к более серьезным занятиям, первым плодом которых стала «дымопоглощающая гигиеническая трубка для слабогрудых и иных курильщиков», долго украшавшая витрину аптекаря.

Амедей Лилиссуар и Гастон Блафаффас вместе влюбились в Арнику: это было роковой неизбежностью. Удивительное дело! Возникшая страсть, в которой они тотчас же друг другу признались, не разделила их, а лишь крепче спаяла. Правда, Арника поначалу ни одному, ни другому не давала поводов для ревности. Из них, впрочем, тоже никто не объяснялся с ней, и Арника ни за что не догадалась бы об их пламени, как ни дрожали их голоса, когда на маленьких семейных вечерах у госпожи Семен, где они были как дома, она подносила им лимонад, чай из вербены или ромашки. А потом, возвращаясь домой, оба они восхваляли ее скромность и грацию, беспокоились об ее бледности, подбадривали друг друга…

Они договорились объясниться в один вечер, вместе, а затем положиться на ее выбор. Арника – совершенный новичок перед лицом любви – в изумлении и в простоте сердца благодарила небо. Она попросила вздыхателей дать ей время на раздумье.

На самом деле у нее не было склонности ни к тому, ни к другому: они ей были интересны лишь оттого, что им была интересна она, а она уж было смирилась с тем, что никому не

интересна. Полтора месяца, все больше теряясь, она тихонько упивалась параллельными знаками преданности от своих кавалеров. И покуда Блафафуары на своих ночных прогулках прикидывали, насколько продвинулся каждый из них, пространно и безотлагательно описывая друг другу малейшее слово, улыбку, взгляд, которыми бывали вознаграждены, Арника, запершись в комнате, писала на бумажках, которые тут же сжигала на свечке, и непрестанно твердила то: Арника Блафаффас? – то: Арника Лилиссуар? – и не могла никак выбрать между этими ужасными именами.

Потом вдруг, в день, когда были танцы, она выбрала Лилиссуара: ведь Амедей теперь назвал ее Арни́ка, с ударением на предпоследнем слове – на итальянский, как ей показалось, манер. (Он сам этого не заметил, случилось же это, конечно, затем, что фортепьяно девицы Семен всему задавало свой ритм в этот миг.) Имя его – Амедей – тоже ей сразу предстало исполненным нежданной музыки, способным выразить любовь и поэзию… Они остались вдвоем в маленькой комнатке рядом с гостиной, так близко друг к другу, что когда Арника, обессилев, уронила отяжелевшую от благодарности голову, она лбом коснулась плеча Амедея, а тот очень важно взял в ответ ручку Арники и поцеловал ей кончики пальцев.

Когда на обратном пути Амедей объявил о счастье своем другу своему Гастону, тот, против обыкновения, ничего не сказал, а когда они проходили мимо фонаря, Лилиссуа-

ру показалось, что он плачет. Как ни велика была наивность Амедея – не мог же он и впрямь думать, что друг до самого конца сможет делить его счастье… Весьма смутившись, он тут же обнял Блафаффаса (улица была пустынна) и поклялся, что, сколь ни велика его любовь, дружба гораздо сильнее, что, по его мнению, после женитьбы она нимало не должна ослабеть, что, наконец, чем видеть, как Блафаффас страдает от ревности, он готов ему обещать никогда не пользоваться своими супружескими правами.

Ни Блафаффас, ни Лилиссуар не обладали особенно бурным темпераментом, но Гастона мужская природа тревожила несколько больше; он промолчал и не помешал Амедею связать себя словом.

Вскоре после женитьбы Амедея Гастон, ушедший, себе в утешение, с головой в работу, изобрел пластический картон. Это изобретение, поначалу казавшееся пустяковым, прежде всего укрепило увядшую несколько дружбу между Блафафуарами и Левикуаном. Эвдокс Левикуан сразу же почуял, как может пригодиться новый материал для производства церковных статуй; с великолепным чувством конъюнктуры он сразу же окрестил его «римским картоном»[12]. Так была основана фирма «Блафаффас, Лилиссуар и Левикуан».

---

[12] «Пластический римский картон, – гласит каталог, – изобретен не так давно; изготовляется особым способом, секрет которого сохраняет фирма «Блафаффас, Лилиссуар и Левикуан», и великолепно заменяет картон под камень, папье-маше и другие аналогичные составы, несовершенство которых уже вполне доказано опытом». (Следует описание разновидностей продукта.) – *Примеч. авт.*

Дело было запущено на шестьдесят тысяч франков уставного капитала, из которых Блафафуары скромно подписались вдвоем всего лишь на десять, а Левикуан, категорически не желая обременять друзей долгами, щедро вложил остальные пятьдесят. Правда, сорок тысяч из этих пятидесяти дал взаймы, взяв их из приданого Арники, Лилиссуар сроком на десять лет под совокупный процент 4,5: это было больше, чем Арника отроду могла надеяться получить, и защищало небольшое состояние Амедея от крупных рисков, которых не могло избежать подобное предприятие. Зато, когда римский картон доказал свои достоинства, Блафафуары привлекли свои связи и связи Барайулей – иными словами, протекцию высшего духовенства, которое (помимо нескольких серьезных заказов) убедило многие маленькие приходы обратиться к фирме БЛЛ для удовлетворения растущих потребностей верующих, чье художественное воспитание постоянно совершенствуется и требует произведений искусства более изящных, нежели те, которыми до сей поры удовлетворялась грубая вера предков. Ради этого некоторые художники признанного Церковью достоинства, связанные с производством римского картона, добились наконец того, что их произведения были одобрены жюри Салона. Блафафуаров Левикуан оставил в По, а сам поселился в Париже, где, благодаря его сметке и хватке, фирма вскоре существенно расширилась.

Что же может быть естественней, если графиня Валентина

де Сен-При пожелала через Арнику заинтересовать фирму Блафаффаса в тайном деле освобождения папы? Что она полагалась на великое благочестие Лилиссуаров, чтобы частично возместить свои расходы? К несчастью, поскольку при основании дела Блафафуары вложили не много, они мало и получали: две двенадцатых от доходов на уставный капитал, а сверх этого ничего вообще. Этого-то и не знала графиня, потому что Арника, а равно и Амедей были крайне стыдливы в отношении своего кошелька.

III

– Графиня, дорогая моя! Что случилось? Меня так испугало ваше письмо!

Графиня рухнула в кресло, подвинутое для нее Арникой.

– Ах, госпожа Лилиссуар… нет, позвольте мне называть вас «друг мой»! Горе нас сближает… оно коснулось и вас… Ах, если бы вы только знали!

– Говорите же, говорите! Не томите меня ожиданием.

– Но то, что я сейчас узнала и скажу вам, должно остаться секретом между нами.

– Я еще никогда не злоупотребляла ничьим доверием, – молвила Арника с горестью: до сих пор ей никогда никаких секретов не доверяли.

– Вы не поверите!

– Поверю, поверю! – стонала Арника.

– Ах! – простонала и графиня. – Послушайте, вы не будете так любезны приготовить мне чашечку… чего-нибудь? Я чувствую, что лишаюсь сил.

– Хотите вербены? липы? ромашки?

– Не важно… лучше, пожалуй, чаю… Я сначала не хотела верить.

– На кухне есть кипяток… одну минуточку – и готово.

И покуда Арника занималась чаем, глаза графини не без цели изучали гостиную. Вся обстановка обескураживала скромностью. Стулья обиты зеленым репсом, одно кресло – гранатовым бархатом, другое, в котором сидела графиня, – простым сукном; стол, консоль красного дерева; перед камином мохнатый шерстяной коврик; на камине алебастровые часы под стеклянным колпаком, а с двух сторон от них большие ажурные алебастровые вазы, тоже под колпаками; на столе альбом семейных фотографий; на консоли Богоматерь Лурдская в своей пещере из римского картона (уменьшенная копия) – все это удручало графиню; она так и чувствовала, как падает духом.

Но может быть, они просто сквалыжничают, просто прикидываются бедными…

Вернулась Арника с чайником, сахаром и чашкой на подносе.

– Я вас так утруждаю…

– О, что вы, помилуйте! Только мне лучше приготовить все сразу: потом уже сил не будет.

– Так вот что, – начала Валентина, когда Арника уселась. – Святейший…

– Нет! Не говорите этого! Не говорите! – тотчас произнесла госпожа Лилиссуар, вытянув руку перед собой, потом тихонько вскрикнула и с закрытыми глазами упала навзничь.

– Бедный друг мой! Дорогой бедный друг мой! – твердила графиня, щупая ей пульс. – Я же знала, что этот секрет будет выше ваших сил…

Наконец Арника приоткрыла глаза и грустно прошептала:

– Он умер?

Тогда Валентина склонилась к ней и сказала на ухо:

– Он в темнице.

Изумление привело госпожу Лилиссуар в чувство; и тогда Валентина начала долгий рассказ; в датах она была нетверда, в хронологии путалась, но один факт, неоспоримый и достоверный, был налицо: Верховный понтифик попал в руки неверных; для его освобождения тайно собирается крестовый поход, а для успеха похода прежде всего требуется много денег.

– Но что скажет Амедей? – стонала Арника в полной растерянности.

Он пошел на прогулку со своим другом Блафаффасом и вернуться должен был только вечером.

– Главное, велите ему хорошенько хранить тайну, – несколько раз повторила Валентина, прощаясь с Арникой. – Поцелуемся, дорогой друг мой; не падайте духом! – Арни-

ка сконфуженно подставила графине повлажневший лоб. – Завтра я заеду узнать, что вы, по-вашему, сможете сделать. Посоветуйтесь с господином Лилиссуаром, но не забывайте: здесь судьба Церкви! И, само собой разумеется, – только вашему мужу. Вы обещаете мне, правда? Ни слова, ни единого слова!

Графиня де Сен-При оставила Арнику до того без сил, что почти без чувств. Когда Амедей пришел с прогулки, она тотчас сказала:

– Друг мой, я только что узнала невероятно печальную новость. Бедный папа римский в темнице.

– Не может быть! – сказал Амедей таким тоном, как сказал бы: «Ну и что?»

Тогда Арника разрыдалась:

– Я знала, знала, что ты мне не поверишь…

– Но погоди, погоди, дорогая… – продолжал Амедей, снимая пальто, без которого почти никуда не ходил, боясь резких перепадов температуры. – Посуди сама! Если бы кто-нибудь тронул Святейшего Отца, об этом все знали бы… В газетах было бы… Да и кто же мог его заточить в темницу?

– Валентина говорит, Ложа.

Амедей посмотрел на Арнику, думая, что она сошла с ума. Впрочем, он ей ответил:

– Ложа? Какая Ложа?

– Откуда же мне знать? Валентина обещала никому не говорить.

– А ей кто это сказал?

– Она не велела мне рассказывать… Один каноник, он приехал к ней от какого-то кардинала, с его карточкой…

Арника ничего не понимала в общественно важных делах, и обо всем, что ей рассказала госпожа де Сен-При, у нее сохранилось только общее смутное представление. При словах «темница», «заточение» в ее глазах вставали мрачные романтические образы, слова «крестовый поход» приводили ее в совершенное возбуждение, и когда Амедей наконец в смятении сказал, что сам поедет в Рим, она увидела его на коне, в латах и рыцарском шлеме… Пока же он ходил кругами по комнате и говорил:

– Во-первых, деньги; у нас их нет… И ты думаешь, от нас только и нужно – дать денег! Ты думаешь, я расстанусь с парой тысячных купюр и смогу спокойно спать! Нет, дорогая, если то, что ты мне рассказала, правда, это кошмар, и покоя теперь нам не будет. Кошмар, понимаешь?

– Да, конечно, я знаю, кошмар… Только ты мне все-таки растолкуй… почему кошмар?

– Так это еще объяснять надо! – Амедей воздел руки к небу; на висках у него проступил пот. – Нет-нет! – заговорил он снова. – Тут надобно отдать не деньги, а самого себя! Я поговорю с Блафаффасом: увидим, что-то он скажет.

– Валентина взяла с меня клятвенное обещание ни с кем не говорить об этом, – робко заметила Арника.

– Блафаффас – это не кто-нибудь, и мы строго велим ему,

чтобы от него уже больше никому.

– Как же ты уедешь, чтобы никто не узнал?

– Будут знать, что я уехал, а куда поехал – не будут. – Он повернулся к ней и патетически взмолился: – Арника, дорогая! Отпусти меня!

Она рыдала. Теперь уже ей требовалась поддержка Блафаффаса. Амедей собрался сходить за ним, но тут он и сам явился, постучав, по обыкновению, в окно гостиной.

– В жизни не слышал интересней истории! – воскликнул он, когда его ввели в курс дела. – Нет, в самом деле, кто мог ожидать чего-нибудь подобного? – И не успел еще Лилиссуар хоть что-то сказать о своих намерениях, Гастон заявил: – Друг мой, нам теперь остается одно: ехать туда.

– Видишь, – сказал Амедей, – и у него это самая первая мысль.

Вторая же мысль оказалась такая:

– Но меня, к сожалению, держит здесь нездоровье моего дорогого отца.

– Что ж, оно и лучше мне отправиться одному. Вдвоем мы будем слишком приметны.

– Но ты хоть знаешь, что делать?

В ответ Амедей выпрямил спину и поднял брови, желая сказать: «Сделаю все, что смогу, о чем ты!»

Блафаффас продолжал:

– Ты знаешь, к кому обращаться? Куда ехать? Да и что ты вообще будешь там делать?

– Прежде всего разузнаю, как оно там.

– Ну а если это все-таки все неправда?

– Вот именно: я не могу так и оставаться в сомнении.

На что Гастон тотчас откликнулся:

– И я не могу!

– Подумай еще, друг мой, – сделала робкую попытку Арника.

– Я все обдумал. Поеду тайком, но поеду.

– Когда? У тебя ничего не готово.

– Нынче же в ночь. Что мне, собственно, нужно?

– Ты ведь никогда не путешествовал. Ты и не знаешь, что нужно.

– Увидишь, малышка, все будет в порядке. Я вам расскажу, что со мной там приключится, – сказал он с благодушным смешком, от которого у него заходил кадык.

– Ты же наверняка простудишься!

– Я надену твой шарф.

Он перестал расхаживать и приставил кончик пальца Арнике к подбородку, как приставляют младенцам, чтобы они улыбнулись. Гастон держался сдержанно. Амедей подошел к нему:

– У меня к тебе просьба: загляни в справочник. Скажи мне, когда есть хороший поезд на Марсель, чтобы там был третий класс. Нет-нет, только третьим, непременно! Словом, приготовь мне подробное расписание: где пересаживаться, где есть буфет; все это до границы; дальше я уж буду на пути,

разберусь как-нибудь, и Бог меня до Рима доведет. Пишите мне туда до востребования.

Важность миссии опасно горячила ему голову. Гастон уже ушел, а он все еще мерил шагами комнату.

– Лишь бы это было назначено мне! – шептал он, полон восторга и сердечной благодарности: жизнь его наконец обретала смысл. Ах, сударыня, пожалейте его, не держите! На земле так мало людей, которые смогли найти свое настоящее дело.

Арника добилась от него лишь согласия остаться с ней еще одну ночь – да и Гастон в расписании, которое принес вечером, отметил поезд, уходящий в восемь утра, как самый практичный.

С утра лило ливмя. Амедей не разрешил ни Арнике, ни Гастону провожать его на вокзал. И никто не бросил прощальный взгляд вслед забавному путнику с рыбьими глазами, закутанному в темно-бордовый шарф: в правой руке серый парусиновый чемодан с пришпиленной к нему визитной карточкой, в левой – огромный потрепанный зонт, а через руку – зелено-коричневый клетчатый плед, – когда поезд его уносил в Марсель.

IV

Около того же времени Жюльюсу де Барайулю пришлось

отправиться в Рим на большой конгресс по обществоведению. Собственно, его туда не приглашали (по социальным вопросам он имел не столько сведения, сколько мнения), но он был рад такому случаю, чтобы завязать отношения с некоторыми светилами науки. А поскольку как раз по дороге находился Милан, а в Милан, как мы знаем, по совету отца Ансельма отправились жить Арманы-Дюбуа, Барайуль заодно повидал и свояка.

В тот самый день, когда Лилиссуар выехал из По, Жюльюс позвонил в дверь Антиму.

Его ввели в жалкую трехкомнатную квартирку, если можно считать за комнату темную каморку под лестницей, где Вероника сама варила какие-то овощи – их обычную пищу. Уродливый металлический рефлектор переправлял в квартиру тонкий, бледный луч света из дворика; свою шляпу Жюльюс оставил у себя в руках, чтобы не класть на подозрительную клеенку, накрывавшую овальный стол. Застыв от ужаса перед ней, он схватил Антима за руку и воскликнул:

– Бедный друг мой, вы не можете здесь оставаться!

– Почему вы жалеете меня? – ответил Антим.

Вероника поспешно явилась на их голоса:

– Верите ли, дорогой Жюльюс, с нами поступили так несправедливо, так недобросовестно, а он только это одно и твердит!

– Кто велел вам ехать в Милан?

– Отец Ансельм; впрочем, мы все равно не могли больше

платить за квартиру на виа ин Лючина.

– А какая нам в ней нужда? – сказал Антим.

– Вопрос не в том. Отец Ансельм обещал вам возмещение. Знает ли он о вашей нужде?

– Делает вид, что не знает, – сказала Вероника.

– Надобно жаловаться епископу Тарбскому.

– Антим так и сделал.

– И что он сказал?

– Это превосходный человек; он весьма укрепил меня в вере.

– Но с тех пор как вы здесь, вы кому-нибудь об этом дали знать?

– Я чуть было не встретился с кардиналом Пацци, который почтил меня своим вниманием; недавно я ему писал; он проезжал через Милан, но передал мне через лакея…

– Что, к сожалению, приступ подагры не позволяет ему выйти из комнаты, – перебила Вероника.

– Чудовищно! – воскликнул Жюльюс. – Об этом надо уведомить Рамполлу.

– О чем уведомить, дорогой друг? Верно, что я немного оскудел, но в чем мы нуждаемся сверх имеющегося? Когда я был состоятелен – заблуждался, грешил, болел. Теперь я здоров. Когда-то вы могли по праву жалеть меня. Да ведь вы же знаете: ложные блага отвращают от Бога.

– Но эти ложные блага, в конце концов, принадлежат вам по праву. Я согласен, что Церковь учит их презирать, но не

соглашусь, когда она у вас их отбирает.

– Как верно! – сказала Вероника. – С каким облегчением я слушаю вас, Жюльюс! Он себе знай смиряется, а я вся закипаю; никак его не заставишь себя защищать; дал себя ощипать как гусенка, и еще спасибо говорит всем, кто желал взять и взял его добро во имя Божие…

– Вероника, мне тяжко слушать от тебя такие речи; все, что творится во имя Божие, – благо.

– Если вам нравится сидеть на пепелище…

– Иов сидел на гноище, друг мой.

Вероника обратилась к Жюльюсу:

– Слышите, что он говорит? И вот точно так каждый день – одни монашеские речи на устах; я с ног валюсь: покупки, стряпня, приборка, – а мне на это все цитируют Евангелие, говорят, что я пекусь о многом, и советуют смотреть на лилии полевые.

– Я тебе, как могу, помогаю, друг мой, – ангельским голосом ответил Антим. – Ведь я теперь ходячий, так что много раз предлагал тебе сходить на базар или вместо тебя прибраться в доме.

– Это дело не мужское! Пиши себе дальше свои проповеди, только старайся, чтобы тебе за них побольше платили. – Она раздражалась все больше и больше (а прежде была такая веселая!): – Стыд и срам! Вспомнить только, сколько он получал в «Депеш» за безбожные статейки – а теперь «Паломник» за его поучения дает два гроша, так он и то умудряется

больше половины оставлять нищим.

– Так он же просто блаженный! – озадаченно воскликнул Жюльюс.

– Верно, блаженный, то-то и злит! Глядите-ка: знаете, что это? – Она прошла в дальний темный угол комнаты и взяла там клетку для цыплят. – Здесь пара крыс, которым господин ученый в свое время выколол глаза.

– Боже мой! Вероника, для чего вы к этому возвращаетесь? Когда я ставил на них опыты, вы хорошо их кормили, а я вас за то упрекал… Да, Жюльюс, когда я был злодеем, я из пустого ученого любопытства ослепил этих бедных животных, а теперь забочусь о них; это совершенно естественно.

– Хотел бы я, чтобы и Церковь, ослепившая вас, сочла естественным сделать для вас то, что вы для этих крыс.

– Ослепившая? От вас ли я это слышу? Просветившая, брат мой, просветившая!

– Вы от меня слышите о фактах. Положение, в котором вас бросили, – вещь, по-моему, недопустимая. Церковь взяла на себя обязательства перед вами; совершенно необходимо, чтобы она их выполнила: необходимо для ее чести и для нашей веры. – Он обратился к Веронике: – Раз вы ничего не получаете, обращайтесь выше – все время выше и выше. Я говорил вам о Рамполле? Напрасно; теперь я хочу подать ходатайство самому папе: Святейшему Отцу известно о вашем обращении. Такое надругательство над справедливостью стоит того, чтобы довести до него. Завтра же еду в Рим.

– Останьтесь у нас поужинать, пожалуйста, – робко посмела сказать Вероника.

– Прошу меня простить, у меня не слишком крепкий желудок. – Тут Жюльюс, чьи ногти были всегда ухоженны, заметил короткие, тупые пальцы Антима. – Когда поеду опять из Рима, задержусь у вас подольше и поговорю с вами, дорогой Антим, о новой задуманной книге.

– Я на днях перечитал «Воздух вершин», и он мне понравился больше, чем поначалу.

– И совершенно напрасно – это неудачная книга; я расскажу вам почему, когда вы будете в состоянии меня выслушать и понять те странные мысли, что тревожат меня сейчас. Мне много нужно сказать. Но сегодня – ни слова больше!

И он ушел от Арманов-Дюбуа, пожелав на прощание хранить надежду.

Книга четвертая
«ТЫСЯЧЕНОЖКА»

И одобрить я могу только тех, кто ищет, стеная.
Паскаль.
Фрагмент 3421

I

Амедей Лилиссуар уехал из По с пятьюстами франками в кармане: этого непременно должно было хватить на поездку, в какие бы сверхсметные расходы ни вовлекла его злокозненная Ложа. Кроме того, если сумма окажется недостаточной, если станет видно, что придется еще задержаться, он отпишет Блафаффасу, который держал для него небольшие свободные средства.

Билет он взял только до Марселя, чтобы в По никто не узнал, куда он едет. Билет третьего класса от Марселя до Рима стоил всего тридцать восемь сорок и притом позволял ему делать остановки по дороге; этим правом он собирался воспользоваться не для удовлетворения любопытства к чужим краям, которое в нем никогда не бывало сильно, а из нужды во сне, которая была очень требовательна. Ины-

ми словами, он больше всего на свете боялся бессонницы – а поскольку Церковь нуждалась в том, чтобы в Рим он прибыл свеженьким, то он позволит себе пару дней промедления да какие-то расходы на гостиницу… Что это по сравнению с ночью в вагоне – вне всякого сомнения, бессонной и чрезвычайно нездоровой из-за испарений попутчиков; а если кто из них решит освежить воздух и вздумает открыть окошко – это же верная простуда… Итак, на первую ночь он остановится в Марселе, на вторую в Генуе в каком-нибудь отельчике без роскоши, но удобном, какие всегда без труда находишь рядом с вокзалом. Так что в Риме он будет лишь послезавтра к вечеру.

Впрочем, его забавляло уже само путешествие, уже то, что он едет один: до сорока семи лет он жил всегда под чьей-нибудь опекой, сопровождаемый либо женой, либо другом своим Блафаффасом. Забившись в уголок вагона, он улыбался, как коза выставляя зубы, в предвкушении невинных приключений. Все шло хорошо до Марселя.

На другой день он уехал не туда. Поглощенный чтением только что купленного бедекера по Центральной Италии, он перепутал поезд и отправился прямо в Лион, заметил это лишь в Арле, когда поезд уже тронулся; пришлось проехать до Тараскона и оттуда ехать обратно. Потом он сел на вечерний поезд до Тулона, чтобы не ночевать опять в Марселе: там его заели клопы.

И ведь смотрелся тот номер очень недурно, с окнами на

Канебьеру; симпатичной – ей-ей! – казалась поначалу и кровать, в которую, сложив одежду, посчитав расходы и помолившись, он доверчиво улегся. Он валился с ног и тотчас уснул.

У клопов особенный норов: они ждут, пока задуют свечу, и, как только станет темно, выступают в поход. Идут не наугад, а шествуют прямо к шее, которую любят особенно; иногда направляются к запястьям; некоторые чудаки предпочитают щиколотки. Неизвестно зачем, они впрыскивают под кожу спящему тонкую жгучую эссенцию, едкость которой многократно возрастает при малейшем трении.

Лилиссуар проснулся от такого сильного зуда, что зажег свечку и побежал к зеркалу; он увидел под нижней челюстью расплывчатое красное пятно со множеством неясных белых пятнышек, но свечка светила плохо, зеркальная амальгама была грязная, глаза Лилиссуара затуманены сном… Он улегся опять, не переставая чесаться, задул огонь, пять минут спустя снова зажег: кожа горела невыносимо. Подскочив к умывальнику, он намочил из кувшина платок и приложил к воспаленному месту: оно стало больше, доходя уже до ключицы. Амедей решил, что заболевает, и помолился, потом опять погасил свечу. Облегчение от холодного компресса продолжалось слишком недолго, чтобы дать страждущему уснуть: к зуду от жгучего вещества теперь добавлялось неудобство от мокрого воротника ночной рубашки, смочен-

ного к тому же еще и слезами. И вдруг Лилиссуар подскочил от ужаса: клопы! Это же клопы! Он поразился, как это раньше не понял – но ведь он этих насекомых знал только по названию; что общего между укусом в определенное место и этим жжением где-то по всему телу? Он соскочил с кровати и зажег свечу в третий раз.

Он был нервен и жизни не знал; как и многие, он совершенно неправильно представлял себе жизнь клопов и теперь, похолодев от омерзения, принялся поначалу искать их на себе – не увидев ни одного, подумал, что ошибся, уже опять решил, что заболел. На простыне тоже ничего не было; он собрался лечь, но ему пришло в голову приподнять валик кровати. Там он заметил три крохотные черные горошинки, стремительно забившиеся в складку простыни. Они!

Он поставил свечку на стол и устроил облаву: развернул складку и засек пятерых; из брезгливости он не раздавил их ногтем, а отнес в ночной горшок и там затопил мочой. С полминуты он с жестоким удовольствием смотрел, как они барахтаются; ему стало лучше; он лег опять; задул огонь.

Зуд почти сразу же усугубился; появился и новый очаг – на затылке. Он в отчаянье зажег свечку, встал, а рубашку снял, чтобы как следует рассмотреть ее ворот. В конце концов он заметил на шве едва различимые красные точки; он раздавил их рубашкой – они оставили на полотне кровавые пятнышки. Такие маленькие, а такие гадкие! Трудно было поверить, что это уже клопы, но, еще раз подняв валик,

он обнаружил там огромную клопину – должно быть, мать этих клопиков. Тогда, взбодрившись, возбудившись, почти что развеселившись, он снял валик, собрал постель и начал осматривать все методически; ему теперь казалось, что он их видит повсюду, но в конечном итоге поймал всего четырех, лег и часок отдохнул спокойно.

Потом снова стали кусать. Он еще раз пошел на охоту, потом наконец выбился из сил, решил – будь что будет, и притом заметил, что, если укус не трогать, он в общем-то заживает довольно быстро. На рассвете последние клопы насытились и оставили его. Он глубоко заснул, и тут коридорный пришел будить его к поезду.

В Тулоне были блохи.

Он, должно быть, подцепил их в вагоне. Целую ночь он чесался, метался, ворочался и не засыпал. Чувствовал, как они бегают у него по ногам, щекочут в паху, как от них лихорадит. Кожа у него была нежная, поэтому от укусов вскакивали крупные волдыри; он еще больше разгонял воспаление, потому что чесался так, словно это было приятно. Он несколько раз зажигал свечку, вставал, снимал рубашку, надевал опять и ни одной блохи убить не смог: он их едва успевал на мгновенье заметить; они от него убегали, а даже если ему и удавалось какую поймать – не успевал он подумать, что блоха уж мертва, раздавлена на ногте, как в ту же секунду она вздувалась, поднималась жива и здорова и прыгала пуще

прежнего. Он уже пожалел о клопах. Он бесился, и в горячке бесплодной охоты окончательно разогнал сон.

Весь следующий день ночные нарывы зудели, а щекотка по телу указывала, что гостьи все еще тут. От страшной жары он чувствовал себя еще намного хуже. Поезд был набит работягами; они пили, курили, плевали, рыгали и сервелат жевали такой вонючий, что Лилиссуара несколько раз чуть не вырвало. Но перейти в другое купе он решился только на границе: как бы работяги, видя, что он уходит, не подумали, что стесняют его. В том купе, куда он перешел затем, могучая кормилица меняла пеленки младенцу. Он попытался все-таки уснуть, но тут ему стала мешать собственная шляпа. То была плоская белая соломенная шляпа с черной лентой, из тех, что называют обычно «канотье». Когда Лилиссуар оставлял ее в нормальном положении, жесткие поля не давали ему прислониться к стенке, если же сдвигал шляпу назад, поля зажимало между затылком и стенкой, а верх подскакивал над головой и торчал словно миска. Тогда он решил шляпу вовсе снять, а макушку прикрыть платком, уронив его концы на глаза, чтобы не мешал свет. Но уж к ночи Амедей хорошо приготовился: утром в Тулоне купил коробку порошка от насекомых, а вечером, думал он, хотя бы это и стоило дорого, он остановится непременно в лучшем отеле; ведь если и в эту ночь он не выспится, в каком физическом истощении доберется до Рима? С ним тогда самый завалящий масон справится.

Перед вокзалом в Генуе стояли омнибусы главных отелей; Амедей пошел к одному из самых шикарных, не устрашившись высокомерия лакея, который схватил было его убогий чемоданчик, но Амедей не пожелал расстаться с ним: отказался поставить на верх экипажа, а потребовал взять с собой и поставил рядом на мягком сиденье. В вестибюле гостиницы портье говорил по-французски и тем его приободрил; он пустился во все тяжкие: не только попросил «номер получше», но еще и стал расспрашивать про те, что ему предлагали, твердо решив, что ничто дешевле двенадцати франков ему не подойдет.

Номер за семнадцать франков, который он выбрал, прежде осмотрев еще несколько, был просторный, чистый, изящный без излишеств; изголовьем к стене стояла кровать – медная, чистая, наверняка ненаселенная: пиретрум стал бы для нее оскорблением. За створками огромного шкафа прятался умывальник. Два больших окна выходили в сад. Амедей высунулся в темноту, вглядываясь в неясные сплошные купы листвы; он медлил, чтобы нежаркий воздух утихомирил его лихорадку и склонил ко сну. Над кроватью туманным облаком с трех сторон до земли свисал тюлевый полог; спереди шнурочки, похожие на фалы паруса, поднимали его грациозным изгибом. Лилиссуар узнал в нем то, что называют сеткой от комаров, – прежде он никогда не считал нужным ею пользоваться.

Умывшись, он с наслажденьем улегся на чистом белье.

Окно он оставил открытым – не настежь, конечно, чтобы не подхватить простуду или ячмень, а одну створку, так, чтоб из нее не дуло прямо на него; он посчитал расходы, помолился и потушил свет. (Освещение в номере было электрическое, выключалось поворотом рубильника.)

Лилиссуар собрался засыпать, но тоненький писк напомнил ему, что он забыл об одной необходимой предосторожности: окно открывать лишь после того, как погасишь свет – не то налетят комары. Он припомнил, что где-то читал благодарность Богу, одарившему летучее насекомое особым музыкальным инструментом, который предупреждает спящего, что его сейчас укусят. Затем он опустил со всех сторон непроницаемый полог. «Это же гораздо лучше, – думал он, засыпая, – чем пучки мохнатой сухой травы, которые продает Блафаффас-отец под дурацким названием «верное»; их поджигают под оловянной миской, они горят, и от них идет масса одуряющего дыма, только они еще раньше, чем уморят комаров, до полусмерти задушат людей. Верное! Придумал же название! Верное!» Он уже почти уснул, когда вдруг его сильно укололо в ноздрю. Он поднес руку к носу, стал щупать нарыв – и тут укол в руку, а потом насмешливый звон у самого уха. Ужас! Он запер врага в собственном укреплении! Амедей подскочил к выключателю и зажег лампочку.

Точно! Комар сидел там, на самом верху сетки. Амедей был немного дальнозорок и видел его прекрасно: до неле-

пости тоненький, сидит на четырех лапках, а заднюю пару держит на отлете – длинную, словно завитком. Вот нахал! Амедей встал на кровати. Но как убить насекомое на зыбкой газовой ткани? Да как-нибудь! Он быстро, сильно шлепнул ладонью – ему показалось, что полог порвался. Комар точно был там; он посмотрел кругом, где его труп, ничего не увидел, но почувствовал новый укус – в ногу.

Тогда, чтобы защитить у своей особы хотя бы все, что возможно, Лилиссуар улегся в постель; потом лежал, пожалуй, с четверть часа, затаив дыхание и уже не решаясь гасить свет. Потом наконец, собравшись с духом – врага было не видно и не слышно, – повернул выключатель. И тут же снова началась музыка.

Он высунул из-под одеяла одну руку, держа ладонь у лица, и как только чувствовал, что кто-то пролетает мимо, с размаху шлепал себя по щеке или по лбу. Но тут же опять слышал пение комара.

После этого ему явилась идея закутать голову шарфом, отчего стало совсем безрадостно дышать, а комар все равно укусил его в подбородок.

После этого комар, должно быть, насытился и утих – по крайней мере Амедей, побежденный сном, его больше уже не слышал; он размотал шарф и заснул лихорадочным сном – спал и чесался. Наутро его нос, от природы орлиный, был похож на нос пьяницы, волдырь на ноге вздулся как чирей, а на подбородке стал похож на конус вулкана; Лилиссуар обратил

на него внимание цирюльника, к которому зашел побриться перед отъездом из Генуи, чтобы в Рим явиться в приличном виде.

II

В Риме Лилиссуар слонялся у вокзала с чемоданом в руке усталый, растерянный, не понимающий, где он, не мог ни на что решиться и сил имел только на то, чтобы отклонять посулы гостиничных зазывал, но тут ему повезло: он встретил факкино, который говорил по-французски. Батистен, еще почти безбородый быстроглазый юноша, родился в Марселе; признав в Амедее земляка, он вызвался нести ему чемодан и служить гидом.

Во все время долгого путешествия Лилиссуар листал и перелистывал бедекер. Какой-то инстинкт, предчувствие, внутренний голос почти сразу же отвели его заботы о святом деле от Ватикана и сосредоточили на замке Святого Ангела, бывшем мавзолее Адриана – знаменитой темнице, в тайных казематах которой томилось некогда множество славных узников и которую подземный ход, как говорят, соединяет с Ватиканом.

Он внимательно разглядывал план. «Искать жилье надобно тут», – решил он, ткнув пальцем в набережную Тординона прямо напротив замка. И провиденциальному совпадению было угодно, чтобы именно туда повел его Батистен: не

на саму набережную – она, собственно говоря, всего лишь незастроенный проезд, – а совсем рядом, на виа деи Векьерелли (по-нашему – улицу Старичков), третью от моста Умберто, выходящую к самой насыпи; он знал там тихий дом (из окон четвертого этажа, чуть-чуть высунувшись, можно видеть и мавзолей), где очень милые дамы говорят на любых языках, а одна по-французски прямо-таки замечательно.

– Если, сударь, вы устали, можно взять экипаж, туда далеко… Верно, сегодня не так жарко; дождик прошел; после долгой дороги немного пройтись полезно… Нет, чемодан не тяжелый; конечно, донесу… В Риме вы в первый раз? Из Тулузы, должно быть, сударь? Ах, из По… мне бы догадаться по выговору.

Так за разговором они и шли. Пошли по улице Виминале, потом по Агостино Депретиса, которая от Виминале ведет к Пинчо, потом по улице Национале, вышли на Корсо, перешли ее; дальше они уже двигались по лабиринту безымянных переулочков. Чемодан был до того не тяжел, что факкино шагал очень скоро, а Лилиссуар еле-еле за ним поспевал: ковылял позади, валясь от усталости и плавясь от жары.

– Вот и пришли, – сказал Батистен, когда путешественник уже готов был просить пощады.

Лилиссуар еле решился свернуть на улицу или, точнее, в переулок Векьерелли – такой он был узкий и темный. Батистен между тем уже вошел во второй дом направо, чья дверь находилась в нескольких метрах от набережной; в ту же се-

кунду Лилиссуар увидел, как оттуда вышел берсальер; красивая форма, которую он приметил еще на границе, его успокоила: армии он доверял. Амедей прошел несколько шагов. На пороге явилась женщина – очевидно, хозяйка заведения – и любезно ему улыбнулась. На ней был черный атласный передник, браслеты, на шее лазоревая тафтяная лента; иссиня-черные волосы, собранные башней, держал огромный черепаховый гребень.

– Твой чемодан на четвертый отнесли, – сказала она Амедею. Он принял ее тыканье то ли за итальянский обычай, то ли за плохой французский язык.

– Grazia! – сказал он и тоже улыбнулся. «Grazia»! Это значило «спасибо» – единственное слово, которое он мог произнести по-итальянски, а говоря с дамой, считал вежливым употреблять в женском роде.

Он поднялся наверх, останавливаясь на каждой площадке, чтоб отдышаться и набраться храбрости, потому что очень устал, а мерзкая лестница все делала, чтобы вогнать его в отчаянье. Площадки следовали через каждые десять ступеней; лестница, колеблясь и вихляя, трижды спотыкалась на них, пока добиралась до нового этажа. На потолке над самой первой площадкой, против входной двери, висела клетка с канарейкой, которую было видно и с улицы. На вторую площадку шелудивый кот притащил хвост сушеной трески и собирался приняться за еду. На третью выходили отхожие места; двери были открыты и рядом со стульчаками

видны большие желтые глиняные горшки, из которых торчали ручки ершиков; на этой площадке Лилиссуар не остановился.

На втором этаже чадила керосиновая лампа рядом с большой застекленной дверью, на которой полустертыми буквами написано было «Salone» – однако за дверью было темно; через стекло Амедей лишь с трудом разглядел на противоположной стене зеркало в позолоченной раме.

Когда он подходил к седьмой площадке, из комнат третьего этажа вышел еще один военный – на сей раз артиллерист, – сбежал вниз по лестнице, налетел на него и со смехом пробормотал какое-то итальянское извинение, прежде вернув Амедея в вертикальное положение: Лилиссуар был похож на пьяного и от усталости еле мог стоять на ногах. Если первый мундир его утешил, то второй, пожалуй, привел в замешательство.

«С этими военными шума не оберешься, – подумал он. – Хорошо, что мой номер на четвертом этаже: будут хотя бы не надо мной».

Едва он миновал третий этаж, как его окликнула, прибежав откуда-то из глубин коридора, женщина в распахнутом пеньюаре и с растрепанными волосами.

«Она, должно быть, обозналась», – подумал он и поскорее стал подниматься дальше, отводя глаза, чтобы не смутить даму, застигнутую в дезабилье.

До четвертого этажа он добрался вовсе задохнувшись и

увидел там Батистена; тот разговаривал по-итальянски с какой-то женщиной неопределенного возраста, которая Амедею очень напомнила кухарку Блафаффаса – только не такая жирная.

– Ваш чемоданчик в номере шестнадцатом, третья дверь. Только осторожно, там в коридоре ведро с водой.

– Оно протекает, вот я его и выставила, – сказала женщина по-французски.

Дверь шестнадцатого номера была открыта; на столе горела свеча, освещая комнату, а немного и коридор, где у пятнадцатого номера под жестяным умывальным ведром растекалась и блестела на плитке лужа. Лилиссуар переступил через нее; лужа сильно воняла. Чемодан был на месте, на виду, на стуле. В душной комнате у Амедея тотчас же закружилась голова; он бросил на кровать шляпу, зонт и плед, а сам рухнул в кресло. Пот струился по лбу; он думал, ему сейчас станет дурно.

– А это госпожа Карола, она говорит по-французски, – сказал Батистен. Они вместе вошли в комнату.

– Откройте окно, пожалуйста, – выдохнул Лилиссуар; сил встать у него не было.

– Ой, да как же он вспотел! – твердила госпожа Карола, достав из-за кофточки носовой платочек и утирая пот с бледного лица.

– А мы его к окошку поближе.

Они вдвоем подняли кресло, в котором безвольно болтал-

ся почти совсем бесчувственный Амедей, и поставили так, чтобы он мог дышать не вонью из коридора, а многообразными дурными запахами с улицы. Впрочем, прохлада привела его в себя. Он порылся в кошельке и достал монетку в пять лир, приготовленную для Батистена:

– Большое вам спасибо. А теперь оставьте меня.

Факкино ушел.

– Больно много ты ему дал, – сказала Карола.

Амедей принимал тыканье за итальянский обычай.

Теперь ему хотелось только лечь, но Карола, по-видимому, уходить не собиралась; тогда, влекомый вежливостью, он начал с ней разговор:

– Вы говорите по-французски как француженка.

– Что ж тут такого? Я из Парижа. А вы?

– Я с Юга.

– Так я и поняла. Как вас увидела, так и подумала: этот господин, должно быть, из провинции. В первый раз в Италии?

– В первый.

– По делам приехали?

– Да.

– Рим красивый город, много есть чего посмотреть.

– Конечно… Только сегодня я немножко устал, – решился он признаться. – Я три дня был в дороге, – добавил он, словно извиняясь.

– Верно, сюда ехать далеко.

– И три ночи не спал.

В ответ на это госпожа Карола с той внезапной итальянской фамильярностью, к которой Амедей все никак не мог привыкнуть, ущипнула его за подбородок:

– Ах, шалунишка!

От этого жеста щеки Амедея немного порозовели; чтобы отвести от себя недостойные подозрения, он стал пространно рассказывать о клопах, блохах и комарах.

– Здесь этого ничего нет. Видишь, как чисто.

– Правда; я надеюсь хорошо выспаться.

Но она все не уходила. Он с трудом поднялся с кресла, поднес руку к жилетке, расстегнул первую пуговицу и решился сказать:

– Я, наверное, лягу…

Госпожа Карола поняла его смущение:

– А, ты хочешь, чтобы я на минутку вышла; понятно… – тактично сказала она.

Как только она ушла, Лилиссуар повернул ключ в замке, достал из чемодана ночную рубашку, улегся в постель. Но замок, видимо, плохо держал: едва он задул свечку, дверь приоткрылась и за кроватью, совсем рядом с кроватью, показалось улыбчивое лицо Каролы…

Через час он опомнился. Карола, голая, лежала в его объятиях.

Он вытащил из-под нее затекшую руку, отодвинулся. Она

спала. Слабый свет из переулка освещал комнату, а слышно было только ровное дыхание этой женщины. Тогда Амедей Лилиссуар, чувствуя во всем теле и в душе незнакомую прежде истому, высунул тощие ноги из-под простынь, сел на краю кровати и заплакал.

Как прежде струился по нему пот, так теперь слезы омывали его лицо и смешивались с железнодорожной пылью; бесшумно, безостановочно истекали они тонким ручьем из глубин его существа как из некоего потаенного источника. Он думал об Арнике, о Блафаффасе… Ах! Видели бы они это! Никогда он теперь не посмеет занять свое место рядом с ними! Затем он вспомнил о своей опороченной высочайшей миссии и застонал:

– Кончено! Я недостоин… Кончено! Воистину кончено!

Стонал он тихонько, но его стенания непривычным звучанием разбудили Каролу. Он уже стоял на коленях у кровати и колотил себя кулаком во впалую грудь; пораженная Карола слышала, как он стучит зубами, рыдает и все твердит:

– Спасайся кто может! Разрушена Церковь!

Наконец она не выдержала:

– Да что с тобой, старичок, милый? Ты с ума сошел?

Он обернулся к ней:

– Прошу вас, госпожа Карола, оставьте меня… Теперь мне непременно нужно побыть одному… Завтра утром мы увидимся.

И поскольку винил он, в конце концов, только себя само-

го, он тихонько поцеловал ее в плечо:

– Ах! Вы не знаете, как страшно то, что мы сейчас сотворили… Нет, нет! Не знаете. И никогда не дано вам будет узнать.

III

Не в один департамент Франции запустило мошенническое предприятие под громкой вывеской «Крестовый поход за избавление папы» свои преступные щупальца; Протос – мнимый каноник из Вирмонталя – был не единственным его агентом, а графиня де Сен-При – отнюдь не единственной жертвой. И не все жертвы оказались равно обольщены, хотя бы и все агенты проявили равную расторопность. Даже Протосу – бывшему товарищу Лафкадио – после дела расслабляться не приходилось: он все время держал ухо востро, как бы духовенство (настоящее) не прознало про это дело, и охранял тылы столь же изобретательно, как и наступал. Но он умел менять обличья, а помогали ему прекрасно: от головы до хвоста этой шайки (называлась она «Тысяченожка») царили дивное согласие и послушание.

В тот же вечер Протос узнал от Батистена, что приехал некий иностранец, и несколько встревожился, что он из По. На другой день в семь часов утра он был уже у Каролы. Она еще не вставала.

Все, что он от нее узнал: сбивчивый рассказ о случившем-

ся ночью, о том, как «паломник» (она его так назвала) впал в отчаянье, о его слезах и причитаньях, – не оставило места сомнениям. Его проповедь в По решительно принесла плоды, вот только не совсем того сорта, какого Протосу хотелось. Теперь надо было глаз не спускать с этого малахольного крестоносца, а то он спроста всех как раз и заложит…

– Ну ладно, пропусти меня! – прикрикнул он на Каролу.

Фраза могла показаться странной, потому что Карола еще лежала в постели, но странности никогда не останавливали Протоса. Он встал коленом на кровать, другую ногу перекинул через девицу и перекувыркнулся так ловко, что разом оказался между стеной и чуть отъехавшей от нее кроватью. Карола, видимо, привыкла к этому приему, потому что она просто спросила:

– Что ты хочешь делать?

– Священником переоденусь, – ответил он так же просто.

– А потом опять с той стороны вернешься?

Протос немножко подумал и ответил:

– Ну да, пожалуй, так натуральнее.

С этими словами он наклонился, отворил потайную дверцу, спрятанную в стенной обшивке, до того низенькую, что кровать ее всю закрывала. Когда он просунулся в эту дверцу, Карола схватила его за плечо.

– Послушай, – строго прикрикнула она, – ничего с ним не делай, не надо!

– Говорят же тебе, я пошел священником переодеться!

Как только он скрылся, Карола встала и принялась одеваться.

По правде, я сам не знаю, какого я мнения о Кароле Негрешитти. Выкрик, который у нее сейчас вырвался, пожалуй, доказывает, что сердце ее не слишком глубоко испорчено. Так в самом лоне разврата подчас открывается удивительная нежность чувств подобно тому, как голубой цветок расцветает на куче навоза. По сути своей Карола была покорна и преданна, и, подобно большинству женщин, нуждалась в руководителе. Когда Лафкадио бросил ее, она тотчас пустилась разыскивать первого своего любовника, Протоса – с досады, из мести, назло. И снова ей пришлось пережить нелегкие дни, и Протос, не успев ее получить, сразу снова же сделал ее своим инструментом. Потому что Протос любил власть.

Другой человек, не Протос, мог бы поднять, возродить эту женщину. Но этого прежде всего надо было бы захотеть. Протос же, наоборот, как будто нарочно задался целью оподлить ее. Мы уже видели, каких постыдных услуг требовал от нее этот бандит; честно говоря, казалось, что и она соглашалась на это без особого отвращения, но душа, восстающая против своего жалкого жребия, часто сама не замечает своих первых движений: лишь под действием любви обнаруживается потаенное противление. Неужто Карола влюбилась в Амедея? Было бы неосторожно утверждать это, но при соприкосновении с его чистотой смутилась ее испорченность, и выкрик, переданный мной, без сомнения, выплеснулся из

глубин ее сердца.

Протос вернулся. Одежды он не поменял. В руках у него был сверток шмотья, который он положил на стул.

– Что такое? – спросила она.

– Я передумал. Сначала надо пойти на почту и посмотреть его корреспонденцию. Переоденусь потом, в обед. Дайка мне зеркальце.

Он подошел к окну, внимательно рассмотрел свое отражение, приклеил темные, совсем чуть-чуть светлее черных волос, коротко подстриженные усики.

– Кликни Батистена.

Карола была уже совсем готова. Стоя возле двери, она затягивала шнуровку.

– Я тебе сто раз говорил: чтобы я тебя не видел с этими запонками. Ты с ними очень приметная.

– Ты же знаешь, кто мне их подарил.

– То-то и оно.

– Ты что, ревнуешь?

– Вот дура!

Тут постучал и вошел Батистен.

– Давай попробуй сделать шаг в карьере, – сказал ему Протос, кивая на пиджак, воротничок и галстук, которые принес из-за стены – они лежали на стуле. – Будешь водить клиента по городу. Я его у тебя перейму вечером. Из виду не теряй.

Амедей исповедался в Сан-Луиджи деи Франчези, а не у

Святого Петра: собор пугал его своей огромностью. Батистен проводил его туда, потом отвел на почту. Как и следовало ожидать, у «Тысяченожки» там были свои люди. По визитной карточке, пришпиленной к чемодану Лилиссуара, Батистен узнал его имя и передал Протосу; тому ничего не стоило получить у замешанного в дело служащего письмо от Арники, и он без зазрения совести прочитал его.

– Странно! – воскликнул Лилиссуар, когда час спустя сам потребовал свою корреспонденцию. – Странно! Как будто конверт уже вскрывали.

– Здесь это часто бывает, – флегматично сказал Батистен.

К счастью, Арника была благоразумна и позволяла себе лишь самые туманные намеки. Письмо, собственно, оказалось коротенькое; Арника только писала, что аббат Мюр, «прежде чем что-либо предпринимать», советует встретиться в Неаполе с кардиналом Сан-Феличе, бенедиктинцем. Невозможно было и желать выражений более невнятных, а значит, и менее компрометирующих.

IV

У мавзолея Адриана, именуемого замком Святого Ангела, Лилиссуар пережил горькое разочарование. Огромная масса здания высилась посреди двора, в который вход посторонним был запрещен – допускались только туристы по пропускам и даже, как специально было указано, лишь в сопровож-

дении сторожа.

Эти чрезвычайные меры охраны, само собой, подтверждали подозрения Амедея, но они же давали ему и меру из ряда вон выходящей трудности предприятия. На почти пустынной в предвечерний час набережной, у внешней стены, оборонявшей подходы к зданию, Лилиссуар наконец избавился от Батистена. Он ходил взад-вперед у подъемного моста замка, мрачен и пав духом, потом отошел к самому берегу Тибра и попытался хоть что-нибудь рассмотреть, заглянув через первую линию ограждения.

Сперва он не обратил внимания на священника (мало ли священников в Риме!), сидевшего рядом на скамейке и с виду полностью погруженного в чтение молитвенника, но на самом деле давно исподтишка наблюдавшего за Амедеем. Достойный священнослужитель носил длинную густую серебристую шевелюру, а с этим уделом старости входил в противоречие молодой, свежий цвет лица – знак праведной жизни. По лицу сразу был виден священник, а по какой-то особенной благопристойности, свойственной этому человеку, – французский священник. Когда Лилиссуар в третий раз прошел мимо скамейки, аббат вдруг встал, подошел к нему и, чуть не рыдая, произнес:

– Как! Я не один! Как! Вы тоже его разыскиваете!

С этими словами он закрыл лицо ладонями, и разразились его долго сдерживавшиеся рыдания. Потом он вдруг спохватился:

– Неразумный, спрячь свои слезы! Прекрати воздыхания! – Он схватил Амедея под локоть: – Не будем здесь оставаться, сударь, мы под наблюдением. Проявление чувств, от которого я не мог удержаться, уже замечено.

Пораженный Амедей следовал за встречным.

– Но как же, – смог он наконец выговорить, – как же могли вы узнать, почему я здесь?

– Дай Бог, чтобы только я это сообразил! Но ваша тревога, но печаль во взгляде, с которой вы осматривали эти места, – могут ли они ускользнуть от того, кто уже три недели днем и ночью вожделенно ждет их? Увы, сударь! Едва я увидел вас, как некое предчувствие, некое уведомление свыше заставило меня признать вашу душу сродни моей… Осторожно, кто-то идет. Ради Христа, изобразите совершенную беззаботность.

Навстречу им по набережной шел зеленщик. Аббат тотчас заговорил, как ни в чем не бывало продолжая беседу, только намного живее:

– А поэтому «Вирджинию», которую так ценят некоторые курильщики, прикуривать можно только от свечи, вытащив из середины соломенный фитилек: его вставляют, чтобы в середине сигары оставался тоненький просвет, по которому идет дым. Если у «Вирджинии» нет такого фитилька, ее можно просто выкинуть. Я, сударь, знал очень тонких ценителей, которые закуривали до шести штук, пока не выберут подходящую…

Зеленщик прошел.

– Видели, как он посмотрел на нас? Непременно было надобно сбить его с толку.

– Что ж это! – воскликнул ошеломленный Лилиссуар. – Неужели какой-то простой огородник тоже из тех, кого мы должны опасаться?

– Сударь, я не могу утверждать наверняка, но предполагаю, что так. Окрестности этого замка под особливым надзором; тут так и рыщут тайные агенты полиции. Чтобы не возбуждать подозрений, они переодеваются в самые разные платья. Они так ловки, так хитры! А мы-то столь неосторожны, столь доверчивы! Я вам вот что скажу, сударь: сам чуть было не выдал себя с головой, не остерегшись самого неприметного факкино, который просто вызвался донести, когда я сюда приехал, мой скромный багаж с вокзала к месту, где я поселился. Он говорил по-французски, и хотя я по-итальянски бегло разговариваю с детства, вы поймете, сударь, какие неотразимые чувства я испытал, услышав родной язык в чужой земле… И вот этот факкино…

– Из тех?

– Да, из тех. Вскоре мне удалось в этом убедиться. К счастью, я с ним почти что не разговаривал.

– Вы меня пугаете! – сказал Лилиссуар. – Когда я приехал сам, то есть вчера вечером, тоже попал к какому-то гиду; доверил ему свои вещи, и он говорил по-французски.

– Господи Иисусе! – в ужасе воскликнул священник. – Не

Батистеном ли его звали?

– Батистеном! Это он! – простонал Лилиссуар; у него подогнулись коленки.

– Вот беда! Что вы ему сказали? – Священник крепко схватил его за руку.

– Ничего не припомню…

– Думайте, думайте! Вспомните, ради Христа!

– Да нет, право, – бормотал устрашенный Амедей… – Кажется, ничего я ему не говорил…

– Может, показали что-нибудь?

– Нет, ничего, право, ничего, уверяю вас… Но как хорошо, что вы меня предупредили…

– В какую гостиницу он вас отвел?

– Не в гостиницу; я остановился на частной квартире.

– Это все пустяки. Все-таки где вы живете?

– В одном переулочке; вы его, конечно, не знаете, – пролепетал Амедей очень смущенно. – Это не важно, я там больше не останусь.

– Только осторожно: если съедете слишком быстро, там поймут, что вы чего-то боитесь.

– Да, пожалуй. Ваша правда: сразу съезжать лучше не стоит.

– Но как же я благодарю Бога, что вы приехали в Рим сегодня! Еще день, и я бы вас уже не встретил. Завтра, никак не позже, мне надо ехать в Неаполь встретиться с важной и весьма благочестивой особой, которая втайне занимается

этим же делом.

– Это, случайно, не кардинал Сан-Феличе? – спросил Лилиссуар дрожащим от волнения голосом.

Пораженный, священник отступил на пару шагов:

– Почему вы его знаете?

Потом опять подошел:

– Но что же я удивляюсь? В Неаполе он один посвящен в тайну, которой мы заняты.

– Вы… хорошо ли вы с ним знакомы?

– Хорошо ли! Увы, милейший сударь мой, ему-то я и обязан… Впрочем, не важно. Вы намеревались с ним встретиться?

– Разумеется, если надо.

– Это самый лучший… – Аббат вдруг остановился и смахнул с глаза слезу. – Вы, конечно, знаете, как его разыскать?

– Полагаю, мне всякий покажет. В Неаполе его знают все.

– Естественно! Но вы же, само собой, не намереваетесь оповещать весь Неаполь о вашем приезде? Впрочем, быть того не может, чтобы вас уведомили о его участии в известном нам деле, а может быть, и передали через вас какое-то послание, не научив, как с ним связаться.

– Я прошу прощения… – боязливо сказал Лилиссуар, которому Арника ничего в этом роде не сообщила.

– Как! Вы, быть может, намеревались искать его напрямик? Пожалуй, в самом дворце? – Аббат рассмеялся. – И так вот все ему и объявить без обиняков!

– Признаюсь вам…

– А вы знаете ли, сударь, – очень строго произнес новый знакомый, – знаете ли, что из-за вас его тоже могут заточить в темницу?

Он был так сердит, что Лилиссуар не смел ничего ответить.

– Такое чрезвычайное дело доверяют таким простакам! – прошептал Протос. Он вытащил из кармана верхушку четок, спрятал обратно, потом лихорадочно перекрестился и опять обратился к своему спутнику: – Но кто же, наконец, сударь, велел вам заняться этим делом? Чьи указания вы исполняете?

– Простите меня, господин аббат, – ответил смущенно Лилиссуар, – я ни от кого не получал указаний: я всего лишь несчастный унылый грешник и ищу сам от себя.

Эти смиренные слова явно утешили аббата; он протянул руку Лилиссуару:

– Я говорил с вами сурово… но какие же опасности нас окружают! – Немного помедлил и продолжил: – Послушайте! Хотите, завтра поедемте вместе? Вместе и встретимся с моим другом… – Он возвел очи горе: – Да, я смею называть его своим другом, – продолжил он прочувствованно. – Присядем на минуточку тут на скамейке. Я черкну ему пару слов, мы оба подпишемся и так предуведомим его о нашем посещении. Если отправим письмо до шести вечера (до восемнадцати, как тут говорят), он получит его завтра утром, а

в середине дня сможет уже нас принять; мы с ним даже наверняка успеем пообедать.

Они присели. Протос достал из кармана блокнот и на глазах у растерянного Амедея начал писать на чистом листке:

«Старина…»

Позабавившись остолбенением Лилиссуара, он прехладнокровно улыбнулся:

– А вы, дай вам волю, так и писали бы кардиналу?

Уже дружелюбней он все Амедею объяснил: раз в неделю кардинал Сан-Феличе тайно выезжает из архиепископского дворца в одеянии простого священника, становится капелланом Бардолотти, отправляется на склоны Вомеро и там, на маленькой вилле, принимает немногих близких и получает секретные письма, которые адресуют ему на вымышленное имя посвященные. Но даже в этом простонародном обличье он не чувствует себя в безопасности: не может быть уверен, что письма, приходящие к нему по почте, не распечатываются, и всячески просит, чтобы в письмах не говорилось ничего важного, чтобы в тоне письма ничто не выдавало его сан и ни в чем ни на гран не выражало почтения.

Теперь Амедей был в курсе; он тоже улыбнулся.

– «Старина…» Так-так, что же мы скажем старому приятелю? – веселился аббат, шевеля кончиком карандаша. – Вот! «Я привезу к тебе одного старичка-чудачка». Ничего, ничего, в таком тоне и надо писать, я-то знаю! «Достань бутылку-другую фалернского, завтра мы вместе с тобой их и

высосем. Будет весело». – Ну вот; подпишитесь и вы.

– Наверное, лучше будет не подписывать настоящее имя.

– Ваше можно, не страшно, – ответил Протос и написал рядом с фамилией Лилиссуара слово, которое по-французски значит «подземелье».

– Как хитроумно!

– Что, вас удивляет моя подпись? А у вас все ватиканские подземелья на уме. Так знайте, милейший мой господин Лилиссуар: это слово латинское, произносится «каве», а значит оно: «берегись!».

Все это было сказано так высокомерно и странно, что бедный Амедей почувствовал, как у него по всему телу пробежали мурашки. Всего на миг: аббат Каве тут же перешел на прежний дружелюбный тон и протянул Лилиссуару конверт, на котором написал вымышленный адрес кардинала:

– Будьте любезны, отнесите на почту сами – так лучше: письма священников вскрывают. А теперь распрощаемся; нас больше не должны видеть вместе. Договоримся встретиться завтра в неаполитанском поезде в семь тридцать утра. Третий класс, не правда ли? Само собой, я поеду не в этой одежде, как можно! Вы увидите меня в облике простого калабрийского крестьянина. Иначе мне пришлось бы стричь волосы, а я не хочу. До свиданья! До свиданья!

Он ушел, несколько раз наскоро перекрестив Амедея.

– Как благодарить Бога, что послал мне этого достойного аббата! – шептал Лилиссуар по дороге домой. – Что бы я

делал без него?

А Протос, уходя, шептал так:

– Будет тебе кардинал! А то ведь он сам, пожалуй, и до *настоящего* дошел бы!

V

Лилиссуар жаловался на сильную усталость, поэтому Карола в эту ночь дала ему поспать, хотя он ей понравился, а к тому же ее сразу охватили нежность и жалость, когда он ей признался, насколько неопытен в любовных делах. Итак, он спал – по крайней мере настолько, насколько позволял невыносимый зуд по всему телу от разных укусов: блошиных и комариных.

– Зачем же ты так чешешься! – говорила она ему на другое утро. – Только хуже расчесываешь. Вон какой красный! – прикоснулась она пальчиком к прыщу на подбородке. А когда он собрался уходить, сказала: – На-ка, возьми вот это на память обо мне! – И она прицепила к манжетам его дорожной рубашки те самые мерзкие запонки, на которые так сердился Протос. Амедей обещал вернуться в тот же день вечером, в крайнем случае – завтра.

– Поклянись мне, что ничего с ним не сделаешь! – твердила секунду спустя Карола Протосу, который уже переоделся и собирался уйти через потайную дверь. Он опаздывал – не уходил сам, пока не выйдет из дома Лилиссуар, – поэтому до

вокзала ему пришлось взять экипаж.

В новом облике: в широком крестьянском плаще, бурых портках, синих чулках, сандалиях с завязками, рыжей шляпе с узкими плоскими полями, с короткой трубкой в зубах – он был, надо признать, похож никак не на священника, а на самого настоящего разбойника из Абруцц. Лилиссуар, топтавшийся перед поездом, еле его узнал, когда он появился, прижав палец к губам, как святой Петр Мученик, потом прошел мимо, не подавая вида, что замечает спутника, и скрылся в головном вагоне. Но не прошло и минуты, как он опять появился за занавеской, прищурился, посмотрел на Амедея, махнул ему украдкой, чтоб подошел поближе, а когда тот садился в вагон, шепнул:

– Убедитесь только, что рядом никого нет.

Нет, никого – а купе у них в конце вагона.

– Я шел за вами следом, – продолжил разговор Протос, – но не стал подходить, чтобы нас не застали вместе.

– Как же случилось, что я вас не видел? – сказал Лилиссуар. – Я же много раз оборачивался, как раз чтоб убедиться, что за мной следом не идут. После ваших вчерашних слов я об этом забеспокоился; мне всюду видятся шпионы.

– К несчастью, это было слишком заметно. Вы думаете, очень натурально так оборачиваться каждые двадцать шагов?

– Боже мой! Так что, я выглядел как-то…

– Подозрительно. Увы, это верное слово: подозрительно!

Такой-то человек себя как раз и выдает.

– И при всем том я даже не смог заметить, что вы идете за мной! Зато после нашего разговора мне буквально во всех прохожих мерещится что-то не то. Когда они на меня смотрят, мне тревожно, а если не смотрят – думаешь, это они тебя нарочно не замечают. Я до сих пор никогда не обращал внимания, как редко можно понять, почему человек идет по улице. Из дюжины от силы четверо занимаются чем-то, что сразу видно. О, вы меня, можно сказать, заставили задуматься! Знаете ли, для такой легковерной натуры, как я, быть настороже нелегко; этому надо учиться…

– Ба! Научитесь, быстро научитесь. Сами увидите: через какое-то время это становится просто привычкой. Увы, мне пришлось ее приобрести. Самое главное – всегда казаться веселым. Так вот, к вашему сведению: если боитесь, что за вами идут следом, не оглядывайтесь; просто уроните зонтик или трость, смотря по погоде, или платок, и, поднимая его, посмотрите себе между ног, естественным движением. Советую вам поупражняться. А теперь скажите мне, как я вам в этом наряде? Я боюсь, не проглядывает ли кое-где священник.

– Не беспокойтесь, – простодушно ответил Лилиссуар, – уверен: кроме меня, никто не сказал бы, кто вы такой. – Он с симпатией вгляделся в соседа, чуть наклонив голову. – Само собой, если посмотреть хорошенько, я и сквозь этот наряд замечаю что-то церковное, а в вашем жизнерадостном тоне

– отзвуки скорби, которая гложет нас обоих; но как же вы, должно быть, владеете собой, раз это столь мало заметно! Мне же это, я вижу, дается еще с трудом, но ваши советы…

– Какие у вас любопытные запонки на манжетах, – перебил его Протос: было забавно узнать на Лилиссуаре кошечек Каролы.

– Это подарок, – ответил Амедей, покраснев.

Жара стояла несносная. Протос выглянул в дверцу купе:

– Монте-Кассино. Видите вон там, на горе, этот знаменитый монастырь?

– Вижу… – рассеянно отвечал Лилиссуар.

– Вы, как я гляжу, не большой любитель красот пути.

– Нет-нет, – возразил Лилиссуар, – я их очень люблю, но сами посудите: могу ли я хоть чем-то интересоваться, пока существует предмет моей тревоги? Так же и в Риме с его памятниками: я ничего не видел; мне было не до того, чтобы их разыскивать.

– Как я вас понимаю! – сказал Протос. – Вот и я так же – все время, пока я в Риме, только и бегаю между Ватиканом и замком Святого Ангела.

– Жаль, жаль… Но вы-то уже знаете Рим…

Так беседовали наши спутники.

В Казерте они сошли с поезда и каждый сам по себе пошел перекусить колбасой и чего-нибудь выпить.

– В Неаполе точно так же, – сказал Протос. – Когда будем подходить к вилле – пожалуйста, разойдемся. Вы пойдете за

мной следом, а так как мне понадобится какое-то время объяснить ему, кто вы такой, особенно если он не один, на виллу войдете только через четверть часа.

– Кстати и побреюсь. Утром сегодня совершенно не было времени.

Трамвай привез их на площадь Данте.

– Теперь разделимся, – сказал Протос. – Идти еще довольно далеко, но так будет лучше. Идите за мной шагах в пятидесяти, да не глядите на меня все время, как будто боитесь отстать, и не озирайтесь: за вами тогда увяжутся. Глядите веселей!

Он пошел впереди; потупив очи долу, следовал за ним Лилиссуар. Узкая улица шла круто в гору; солнце жарило, пот катился градом; кругом бурлила толпа: толкалась, галдела, махала руками, распевала, кружила голову Лилиссуару. Полуголые дети танцевали под механическое пианино. Летучая лотерея по два сольдо за билет соорудилась сама собой вокруг жирного индюка, которого держал на вытянутой руке некто, похожий на бродячего клоуна; для большей натуральности Протос на ходу взял билет и затерялся в толпе; с трудом пробиваясь через давку, Лилиссуар совсем уж было подумал, что его потерял, но вскоре нашел: Протос, миновав скопление народа, трусил дальше в гору с индюком под мышкой.

Наконец дома пошли реже, ниже; меньше стало и людей вокруг. Протос замедлил шаг. Он остановился перед ци-

рюльней, обернулся к Лилиссуару и подмигнул; еще через двадцать шагов подошел к низенькой дверце и позвонил.

Витрина цирюльника выглядела не слишком заманчиво, однако у аббата Каве были, конечно, свои резоны указать именно это заведение; к тому же Лилиссуару пришлось бы довольно далеко возвращаться, чтобы найти другую, наверняка ничуть не привлекательней. Дверь по причине страшной жары была открыта; грубая кисейная занавеска не пропускала мух, но давала проветриться помещению; чтобы войти, нужно было ее откинуть. Амедей вошел.

Искусный, видно, человек был этот цирюльник и осторожный: намылив Лилиссуару подбородок, он тут же счистил уголком салфетки пену с покрасневшего волдыря, на который ему указал боязливый клиент. Как дремотно, как одуряюще жарко было в его тихой цирюльне! Амедей, полулежа в кожаном кресле, запрокинув голову, забылся. О, не думать хоть минутку ни о папе, ни о комарах, ни о Кароле! Вообразить, что ты в По рядом с Арникой, что ты еще где-то, вообще не понимать, где ты… Он закрыл глаза, потом приоткрыл и, словно во сне, различил на стене, прямо перед собой, женщину с распущенными волосами; она выходила из неаполитанского моря и несла с собой сладострастное ощущение прохлады, а в придачу сверкающий флакон лосьона для укрепления волос. Под этим плакатом другие флаконы стояли на мраморной полочке; там же косметический карандаш, кисточка для пудры, зубные щипцы, гребешок, ланцет, банка

помады, сосуд, в котором лениво плавало несколько пиявок, другой сосуд, заключавший в себе длинную ленту червя-солитера, и третий, хрустальный, без крышки, до половины наполненный каким-то студенистым веществом, с наклейкой, где причудливыми прописными буквами от руки написано было: «АНТИСЕПТИКА».

Цирюльник, чтобы довести дело до совершенства, еще раз покрыл уже выбритое лицо пахучей пеной и теперь, обнажив другую бритву, правил ее на собственной шершавой ладони и добривал начисто. Амедей уже и забыл, что его ждут, что надо куда-то идти – он засыпал… Тут какой-то громогласный сицилиец вошел в цирюльню и разрушил покой; тут и цирюльник, тотчас заговорив с ним, стал бритвой водить наугад, размахнулся и – вжик! – срезал прыщ.

Амедей вскрикнул и поднес было руку к подбородку, где заблестела капелька крови.

– Niente! niente![13] – сказал цирюльник, удерживая его. Он взял в ящике добрую порцию пожелтевшей ваты, окунул в «Антисептику» и приложил к болячке.

Уже не помышляя, озираются ли на него прохожие, – куда помчался теперь Амедей, обратно вниз, в город? Да к первому же попавшемуся аптекарю; ему показал он свою беду. Улыбнулся аптекарь, зеленоватый старик нездорового вида, взял в коробочке круглый пластырь, провел по нему широким языком – и…

---

[13] Ничего! ничего! *(ит.)*

Выскочив вон из аптеки, Лилиссуар плюнул от омерзения, содрал липкий пластырь, надавил на прыщ, чтобы вышло как можно больше крови. Потом, сильно послюнив носовой платок – но собственной слюной! – потер это место. Потом поглядел на часы, схватился за голову, рысью побежал опять наверх и явился у двери кардинала взмокший, взмыленный, побагровевший, окровавленный, опоздав на четверть часа.

VI

Протос встретил его, приложив палец к губам.

– Мы не одни, – поспешно произнес он. – При слугах не говорить ничего подозрительного; они все знают по-французски. Ни слова, ни жеста, который мог бы нас выдать; самое главное, не брякните как-нибудь «кардинал»: нас принимает капеллан Чиро Бардолотти, а я не аббат Каве, а просто Каве. Понятно? – Вдруг он переменил тон и закричал, хлопнув Лилиссуара по плечу: – Это он, черт побери! Амедей! Ну ты, братец, совсем закопался там со своей бородой. Еще бы пару минут – мы бы, per Baccho, сели без тебя. Индюшка на вертеле уже зарумянилась, как закатное солнце! – Тихонько: – Ах, сударь мой, знали бы вы, как мне тяжело притворяться! Сердцу больно… – И опять во всю мочь: – Это что такое? Поранился? Кровь идет? Дорино! Беги сейчас в сарай, принеси паутины! От ран лучше средства нет…

Кривляясь так, он подталкивал Амедея через вестибюль

во внутренний сад, устроенный в виде террасы, где в виноградной беседке был накрыт стол.

– Дорогой Бардолотти, рекомендую господина де ла Лилиссуара, кузена моего, того самого субчика, о котором говорил вам.

– Добро пожаловать дорогому гостю, – произнес Бардолотти, широко взмахнув рукой, но даже не приподнявшись со своего кресла; вслед за тем он показал, что его босые ноги погружены в таз с прозрачной водой: – Мне омовение ног возбуждает аппетит и кровь от головы отводит.

Это был забавный человечек: маленький, очень упитанный, с безбородым лицом, ничего не говорившим о поле и возрасте. На нем была хламида из альпаки; ничто в его облике не указывало на высокий сан; только очень проницательный или заранее предупрежденный, как Лилиссуар, человек мог бы увидеть под его жизнерадостным обликом тайный след кардинальского помазания. Он опирался на край стола и лениво обмахивался остроконечной шапкой, сделанной из газеты.

– Ах, как я это все люблю! Какой приятный садик! – бормотал Лилиссуар, которому было одинаково неловко и говорить, и молчать.

– Довольно уже, намочился! – крикнул кардинал. – Все! Убирайте миску! Асунта!

Прибежала молодая хорошенькая пухленькая служанка, взяла таз и выплеснула на куртину; ее груди, выскочив из-

под корсета, подрагивали под рубашкой; она смеялась, приостанавливалась около Протоса, и Лилиссуара смущала роскошь ее обнаженных рук. Дорино поставил на стол плетеные бутыли. Солнце резвилось в листьях лозы, щекотало переливчатым светом блюда на столе без скатерти.

– Мы тут без церемоний, – сказал Бардолотти и надел газету на голову. – Поймите меня хорошенько, сударь.

За ним и аббат Каве, властным голосом, разделяя слоги и стуча кулаком по столу, повторил:

– Мы тут без це-ре-моний!

Тут и Лилиссуар наконец подмигнул. Хорошо ли он их понимает? Ну да, конечно, и повторять ему не было нужды, но он тщетно пытался придумать такую фразу, которая ничего не говорила бы и все сказала бы.

– Говорите! Говорите! – шептал ему на ухо Протос. – Придумайте каламбур; тут все очень хорошо понимают по-французски.

– Пошли, садимся! – сказал Чиро. – Каве, дорогой, взрежьте этот арбуз да изобразите из него турецкие полумесяцы. Господин Лилиссуар, а вы не из тех ли, кто больше любит вычурные северные дыни: сахарные, прескоты, еще какие-то канталупы, – чем наши итальянские, тающие на губах?

– Уверен, что с ними ничто не сравнится, но я, с вашего позволения, воздержусь: меня немножко мутит, – ответил Амедей; у него подступало к горлу от мерзкого воспомина-

ния об аптекаре.

– Тогда хотя бы фиги! Только что с дерева, Дорино нарвал.

– Простите меня, фиги тоже не могу.

– Плохо! Очень плохо! Каламбурьте! – шептал ему Протос на ухо, а вслух сказал: – Ну так мы вашу муть винцом осадим и подготовим сосуд для индюшки. Асунта, налей дорогому гостю!

Амедею пришлось чокаться и пить больше, чем он привык; к этому добавились жара и усталость: у него поплыло в глазах. Он уже не так натужно шутил. Протос заставил его петь; голосок у него был писклявый, но все пришли в восторг; Асунта чуть не расцеловала его. Но из глубин его потрепанной веры поднималась страшная тоска; он смеялся, чтобы не расплакаться. Он восхищался ловкостью, натуральностью Каве. Кто еще, кроме Лилиссуара и кардинала, мог бы заподозрить в нем притворство? Впрочем, Бардолотти силой перевоплощения, умением владеть собой ни в чем не уступал аббату; он хохотал, и рукоплескал, и пихал кулаком в бок Дорино, когда Каве держал Асунту, запрокинутую, на руках и взасос лобызался с ней, а когда Лилиссуар, разрываясь душою, склонился к Каве и сказал: «Как вы, должно быть, страдаете!» – аббат за спиной у Асунты взял его за руку и крепко пожал, ни слова не говоря, отвернувшись и возведя очи горе.

Потом он вдруг встал и хлопнул в ладоши:

– Все! Оставьте нас одних! Нет-нет, потом приберете.

Идите отсюда! Via! Via![14]

Он убедился, что Дорино и Асунта не остались подслушивать, и вернулся, мгновенно посерьезнев и посуровев, а кардинал, проведя по лицу рукой, разом согнал с него наносную мирскую веселость.

– Видите, господин де Лилиссуар, дитя мое, до чего нас довели! Какая комедия! Какая постыдная комедия!

– Из-за нее, – подхватил Протос, – нам уже противна и самая честная радость, самое непорочное веселье.

– Господь помилует вас, дорогой мой аббат Каве, – сказал кардинал, обратившись к Протосу, – помилует и воздаст вам за то, что вы помогаете мне испить чашу сию. – С этими словами он залпом допил оставшуюся половину своего бокала, а на лице его рисовалось самое скорбное отвращение.

– Возможно ли! – воскликнул, покачиваясь, Лилиссуар. – Возможно ли, что и в этом убежище, в этом притворном наряде ваше преосвященство должны…

– Сын мой, не называйте меня преосвященством.

– Простите, но среди своих…

– Я и с собой наедине трепещу.

– Вы не можете подбирать себе слуг?

– Их подбирают мне другие, а эти, которых вы видели…

– О, если бы я только сказал вам, – прервал его Протос, – куда они доложат о каждом нашем словечке!

– Возможно ли, чтобы в архиепископстве…

---

[14] Ступайте! Ступайте! *(ит.)*

– Тсс! Забудьте об этих высоких титулах! Нас из-за вас посадят. Не забывайте: вы говорите с каноником Чиро Бардолотти.

– Я весь в их власти, – простонал Чиро.

А Протос, облокотившись на стол, перегнулся через него и вполоборота повернулся к Чиро:

– А что, если я ему скажу, что вас не оставляют одного ни на час ни ночью, ни днем!

– Да, какой бы наряд я ни надел, – подхватил мнимый кардинал, – я никогда не уверен, что у меня на хвосте не сидит какая-нибудь тайная полиция.

– Как! Здесь тоже знают, кто вы?

– Вы ничего не поняли, – сказал Протос. – Перед Богом скажу: между кардиналом Сан-Феличе и неким безвестным Бардолотти вы один из очень немногих, кто может похвалиться, что нашел хоть малейшее сходство. Но поймите же следующее: враг у нас не один. И пока в недрах архиепископского дворца кардинал обороняется от франкмасонов, Бардолотти живет под надзором иезуитов.

– Иезуитов! – в отчаянье произнес капеллан.

– Этого я еще не говорил ему, – пояснил Протос.

– О! Иезуиты тоже против нас! – простонал Лилиссуар. – Кто бы мог подумать! Иезуиты! Вы уверены?

– Подумайте сами немного: вы найдете, что это вполне естественно. Поймите, что эта новая политика Святого престола – политика примирения и приспособления, – как на-

рочно, должна им нравиться, что они находят в последних энцикликах свою выгоду. Может быть, они и не знают, что их издал не настоящий папа, но им было бы неприятно, если бы не стало *этого*.

– Если я вас правильно понимаю, – сказал Лилиссуар, – иезуиты в этом деле сговорились с масонами?

– Откуда вы взяли?

– Но об этом сейчас сказал господин Бардолотти.

– Не приписывайте ему такую глупость.

– Простите меня: я так плохо разбираюсь в политике…

– Вот и не додумывайте сверх того, что вам сказали: есть две мощные партии – Ложа и орден Иисуса; а поскольку мы, посвященные в тайну, не можем, не раскрывшись, получить помощь ни от тех, ни от других, то обе они сейчас против нас.

– Ну, что вы об этом думаете? – спросил кардинал.

Лилиссуар уже ничего ни о чем не думал: он чувствовал себя совсем одуревшим.

– Все против тебя! – продолжал Протос. – Так всегда бывает с теми, кто обладает истиной.

– О, как я был счастлив, когда не знал всего этого! – чуть не плакал Лилиссуар. – Увы! Теперь уже никогда я не смогу этого не знать!

– А он вам не все еще говорит, – продолжал Протос и ласково тронул Амедея за плечо. – Приготовьтесь к самому страшному… – Протос наклонился к нему и сказал полуше-

потом: – Несмотря на все наши старания, секрет просочился. В преданных Церкви департаментах какие-то мошенники пользуются этим, приходят в разные семейства и от имени Крестового похода выманивают у них деньги, которые должны были достаться нам.

– Какой ужас!

– Мало того, – сказал Бардолотти. – Они внушают недоверие к нам, так что мы вынуждены усугубить свою хитрость и осторожность.

– Нате, прочтите это! – сказал Протос и протянул Лилиссуару номер «Круа». – Газета позавчерашняя. Вот тут просто маленькая заметка – из нее все ясно!

«Мы всячески должны предостеречь боголюбивых братьев и сестер, – прочел Лилиссуар, – от махинаций мнимых священнослужителей и особенно одного лжеканоника, который выдает себя за посланного с тайной миссией и, пользуясь легковерием некоторых, вымогает деньги якобы на дело, именуемое «Крестовым походом за освобождение папы». Само название говорит о нелепости этой затеи».

Лилиссуар чувствовал, как земля колеблется и уходит у него из-под ног.

– На кого же теперь положиться! А теперь я вам скажу, господа: может быть, из-за этого жулика – я имею в виду лжеканоника – я и сам теперь с вами!

Аббат Каве сурово посмотрел на кардинала, потом стукнул кулаком по столу:

– Ну вот, я так и знал!

– У меня теперь все основания бояться, – продолжал Лилиссуар, – как бы то лицо, от которого я узнал о деле, само не было жертвой махинаций этого бандита.

– И я бы не удивился, – заметил Протос.

– Вот теперь вы видите, – продолжил Бардолотти, – в каком мы трудном положении: с одной стороны жулики, присвоившие нашу роль, с другой – полиция, которая за ними охотится и вполне может принять нас за них.

– Так, значит, – простонал Лилиссуар, – уже и не знаешь, куда податься: куда ни кинь, всюду клин.

– После этого вы еще удивляетесь нашей чрезвычайной осторожности? – спросил Бардолотти.

– И понимаете, – продолжил за ним Протос, – отчего мы временами не гнушаемся надеть одежды греха и притворяться, что поддаемся самым недозволенным удовольствиям?

– Увы! – прошептал Лилиссуар. – Вы-то притворяетесь, симулируете грех, чтобы скрыть свою добродетель. Я же… – И, поскольку винные пары в нем смешались с туманом печали, а икота с рыданиями, он склонился к Протосу и сначала изверг из себя обед, а потом кое-как поведал о своем вечере с Каролой, о скорби по утраченному своему девству. Бардолотти и аббат Каве еле удерживались, чтобы не расхохотаться в голос.

– Но вы исповедовались, сын мой? – спросил кардинал, исполнившись сострадания.

– На другое же утро.

– И священник дал вам отпущение?

– Слишком легко. Это-то меня как раз и мучает… Но разве мог я ему поведать, что я не обычный паломник, рассказать, что привело меня в эту страну? Нет, нет! Теперь все кончено: отменно высокая миссия требовала и служителя беспорочного. Я был избран. Теперь все кончено. Я пал! – Его опять сотрясли рыдания; он часто колотил себя в грудь, твердил: «Я недостоин! Я недостоин!» – а потом продолжил нараспев, словно певчий: – Внемлющие мне ныне и ведающие печаль мою, судите меня, терзайте меня, карайте меня… Какую, скажите, наложите епитимию великую, что очистит меня от прегрешения величайшего? Какую кару?

Протос и Бардолотти переглянулись. Капеллан Чиро встал и похлопал Амедея по плечу:

– Ладно, ладно, сын мой! Не надо же так все-таки! Ну да, вы согрешили. Но мы в вас меньше от этого не нуждаемся, какого черта! (Вы весь замарались, нате, вот вам салфетка, оботритесь!) Впрочем, я понимаю вашу скорбь, и, раз уж вы воззвали к нам, мы подскажем, как искупить грех. (У вас ничего не выходит, дайте я вам помогу.)

– О, не трудитесь, благодарю, благодарю! – говорил Лилиссуар, а Бардолотти, не переставая обтирать его, продолжал:

– Я все же понимаю ваши сомнения, и, снисходя к ним, мы сперва дадим вам совсем маленькое, не приносящее славы

поручение, которое даст вам возможность проявить себя и испытает вашу верность.

– Только этого я и ждал.

– Так вот: аббат Каве, друг мой, у вас при себе тот чек?

Протос вынул из внутреннего кармана плаща какую-то бумажку.

– Сидя в осаде, – продолжал кардинал, – нам иногда бывает не совсем легко получить наличными приношения, что посылают нам некоторые добрые души по тайным призывам. За нами разом следят франкмасоны с иезуитами, полиция с бандитами, так что нам не следует предъявлять чеки на почте или в банках – там, где наши личности можно опознать. Мошенники, о которых говорил вам аббат Каве, так дискредитировали эти сборы! (Протос меж тем нетерпеливо барабанил пальцами по столу.) Словом, вот вам скромненький документик на шесть тысяч франков; я прошу вас, дражайший сын мой, получить по нему за нас. Он выдан на «Коммерческий кредит» в Риме герцогиней Понте-Кавалло; предназначен архиепископу, но имя получателя благоразумно оставлено пустым, так что получить по нему может любой предъявитель; со спокойной душой подпишите его вашим настоящим именем – оно не возбудит никаких подозрений. Смотрите хорошенько, чтобы у вас не украли ни чек, ни… Что такое, дорогой аббат? Вы, кажется, нервничаете.

– Продолжайте.

– Ни деньги, которые вы мне передадите… когда же? Так,

в Риме вы будете сегодня к ночи; завтра вечером можете сесть на шестичасовой скорый; в десять вечера будете снова в Неаполе и встретитесь со мной на перроне; я вас буду ждать. После этого мы подумаем, каким более достойным делом занять вас… Нет, сын мой, не целуйте мне руку: вы же видите, она без перстня.

Он коснулся лба Амедея, вставшего перед ним в земном поклоне; потом Протос взял паломника под локоть и легонько потряс:

– Ну же, ну! Выпейте еще глоток на дорожку. Мне очень жаль, что я не могу ехать с вами в Рим, но у меня здесь еще много разных дел, да и лучше, чтобы нас не видели вместе. Счастливо! Обнимемся, дорогой Лилиссуар. Храни вас Бог! И слава ему, что сподобил меня познакомиться с вами.

Он проводил Лилиссуара до двери; на прощанье сказал еще:

– Сударь, сударь мой, что же вы скажете о кардинале? Не тяжко ли видеть, во что превратили преследования столь гордый ум?

Потом возвратился к самозванцу:

– Ты, дубина! Нашел, что придумать: дал получить по своему чеку такому лопуху! У него даже паспорта нет, а мне придется глаз с него не спускать.

Но Бардолотти, одолеваемый тяжкой дремотой, уронил голову на стол и прошептал:

– Надо же старичкам давать работу…

Протос пошел в комнату, снял парик и крестьянскую одежду. Вскоре он появился помолодевшим лет на тридцать и выглядел как продавец магазина или банковский клерк из самых захудалых. У него уже почти не было времени успеть на поезд, с которым должен был уехать и Лилиссуар; Бардолотти спал; Протос уехал, не простившись с ним.

VII

В тот же вечер Лилиссуар вернулся в Рим на виа деи Векьерелли. Он очень устал и добился у Каролы позволения поспать.

На другой день с утра прыщ на ощупь показался ему странным; он посмотрел на него в зеркало и увидел, что на порезе появился желтоватый струп и все это выглядело очень нехорошо. Тут он услышал, что Карола топчется у порога, позвал ее и попросил посмотреть болячку. Она подвела Лилиссуара к окну и с первого же взгляда объявила:

– Нет, ты не думай, это не то.

Вообще-то Амедей и не думал про *то,* но попытка соседки успокоить его, напротив, его растревожила. Ведь, между прочим, раз она сказала, что это не *то* – значит, могло быть и *то.* Да и на самом ли деле она уверена, что не то? А ему ведь казалось вполне естественным, чтобы это оказалось *тем:* ведь он же согрешил – значит, заслужил и то самое. Как же иначе? Мурашки пробежали у него по спине.

– Как это случилось? – спросила она.

Ах, какое значение могла иметь случайная причина: бритва цирюльника или слюна фармацевта, – причина существенная была в том, что он заслужил это возмездие. Но как ей сказать об этом благопристойно? И поймет ли она его? Посмеется, конечно… Она переспросила опять; он ответил:

– Цирюльник срезал.

– Ты бы сюда что-нибудь приложил.

Такая забота рассеяла его последние сомненья: то, что она сказала сперва, было сказано лишь в утешение; он уже видел лицо и тело свои сплошь изъеденными язвами, которые вызывают ужас Арники; его глаза наполнились слезами.

– Так ты думаешь…

– Да нет же, козлик, не убивайся ты так; смотришь, как будто на похороны собрался. Да если б это было то, еще ничего не было бы видно.

– Как не то! Как не видно! Все кончено со мной! Кончено! – твердил он.

Она стала еще ласковей:

– Да оно совсем не так и начинается; хочешь, спросим хозяйку? Она расскажет. Не хочешь? Ну так погуляй немножко, развейся, марсалы выпей…

Она немного помолчала, потом снова не выдержала:

– Послушай, я тебе одну важную вещь скажу. Ты вчера не встречался с одним таким седым священником?

Откуда она знала? Потрясенный Лилиссуар спросил:

– А что?

– Понимаешь… – Она еще помолчала нерешительно, потом взглянула на него – он так побледнел, что ее словно вихрем понесло дальше: – Понимаешь, ты его бойся! Он тебя ощиплет, цыпленочек мой бедный, правда, ощиплет! Не след бы мне это говорить тебе, только… ты бойся его!

Совершенно ошеломленный этой речью, Амедей собрался уходить. Он был уже на лестнице; Карола окликнула его:

– А если его опять увидишь – только не говори ему, что я тебе сказала! Это все равно что убить меня.

Жизнь решительно становилась чересчур сложна для Амедея. Кроме того, ноги у него замерзли, лоб горел и все мысли в голове путались. Откуда ему теперь знать – может быть, и аббат Каве мошенник? Тогда, значит, и кардинал? А как же этот чек? Он вынул бумажку из кармана, ощупал, убедился в ее реальности. Нет-нет, не может быть! Карола ошибалась. Да и что она знает о таинственных причинах, которые заставляют бедного Каве вести двойную игру? Здесь, наверное, следует скорее усматривать какую-нибудь мелкую месть Батистена, от которого добрый аббат как раз предостерегал Амедея… Не важно! Он только станет смотреть еще зорче: будет остерегаться Каве так же, как остерегался Батистена… а может, и самой Каролы надобно остерегаться?

– Вот оно, – думал Лилиссуар, – и следствие, и доказательство изначального изъяна, потрясения Святого престо-

ла: все разом идет ко дну. Что может быть верно, кроме папы? А когда сей краеугольный камень, на котором основана Церковь, пошатнулся, ничто не заслуживает быть правдой.

Амедей торопливо трусил по улице к почте: он очень надеялся получить какие-то вести с родины – честные, на которые можно будет наконец опереть пошатнувшееся доверие. От легкой утренней дымки, от обильного света, в котором каждый предмет становился нереальным и зыбким, голова у него еще больше кружилась; он шел как во сне, сомневаясь, тверды ли земля и стены, и вовсе уже не веря, что существуют встречные прохожие, а главное – сомневаясь в реальности Рима. Он щипал себя, чтобы стряхнуть этот кошмарный сон, чтобы очнуться в По, в своей постели, чтобы Арника, уже встав, как обычно, склонилась над ним и спросила: «Хорошо ли вы спали, друг мой?»

Служащий на почте его узнал, и ему без всяких затруднений было выдано очередное письмо от супруги.

«…Я только что узнала от Валентины де Сен-При, – писала Арника, – что Жюльюс тоже в Риме, приглашен на какой-то конгресс. Как мне радостно думать, что ты можешь с ним там повстречаться! К сожалению, адрес его Валентина мне дать не смогла. Ей кажется, он поселится в «Гранд-Отеле», но она не уверена. Знает только, что утром в четверг его должны принимать в Ватикане: он писал кардиналу Пацци и через него просил аудиенции. Он проезжал через Милан, где видел Антима, который живет очень плохо, потому что не

получил обещанного от Церкви в связи с его делом; поэтому Жюльюс хочет видеть Святейшего Отца и у него искать справедливости: ясно, что папа об этом еще ничего не знает. Он расскажет ему о своем визите, а ты можешь объяснить ему, в чем дело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.